ПРОТИВ АНТИМАРКСИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

22 sm

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

ПРОТИВ АНТИМАРКСИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

СБОРНИК СТАТЕЙ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Riigiraamatukogu.
№ A. 334/15
19. IV. 41.
Rbl. 20.-
NSVL Leningrad.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1940 ЛЕНИНГРАД

30(07) + 1 М

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

акад. Б. ГРЕКОВ, акад. Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ, С. БУШУЕВ, В. ЛЕБЕДЕВ, А. СИДОРОВ и А. ШЕСТАКОВ

Ответственный редактор *А. Сидоров*

Редакторы: Ц. М. Подгорненская и К. М. Панков

Технический редактор И. П. Пошешулин Корректор Х. М. Копман

Сдано в набор 13/XI 1939 г. Подписано к печати 19/IV 1940 г. Формат 60×92 1/16. Объем 31 3/4 п. л. В 1 л. 46 000 печ. зн. 35,83 уч.-изд. л. Тираж 15 000 экз. А-22916. АНИ № 1472. РИСО № 1282. Заказ № 1338.

Набрано и сматрицировано в 1-ой Образц. тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига». Москва, Валовая, 28.

Отпечатано с матриц на 3-ей ф-ке книги «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига». Москва, Краснопролетарская, 16.

А. Л. ПОПОВ

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ В XIX В. В «КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» М. Н. ПОКРОВСКОГО

ВВЕДЕНИЕ

Задача преодоления того вреда, который нанес Покровский развитию исторической науки, требует от нас самого внимательного, тщательного и всестороннего пересмотра его литературного наследства. Критический пересмотр развитых им концепций внешней политики царской России XIX и XX вв. представляет особенную важность в виду того монопольного положения, которое занимал Покровский на этом участке исторического фронта. Пересмотр этот представляет вместе с тем особенную трудность потому, что именно данная область истории царской России отличается сугубым отставанием в деле мобилизации исторических источников и вместе с тем сугубым отставанием в деле монографических разработок отдельных частных проблем; что именно в этой области на трудах историка-публициста сказывались с особой силой, с одной стороны, влияния его идеологических «предков», влияния старой публицистики народников и других мелкобуржуазных социалистов, с другой стороны — влияния западноевропейской буржуазной исторической и публицистической литературы. Чтобы лечить болезнь, надо знать историю этой болезни. Чтобы пересмотр ошибок, совершенных Покровским на данном участке исторического фронта, был плодотворен, нужно дать себе ясный отчет в происхождении этих ошибок.

Старая русская дворянская и буржуазно-дворянская историография вопросам внешней политики уделяла не мало места и внимания. Но это относится главным образом к ранним периодам истории до начала XIX в. включительно. Разработка вопросов внешней политики XIX в. прогрессивно замедляется и постепенно сходит на-нет.

Период царствования Александра I можно считать разработанным удовлетворительно. Николаевский период оказался уже в худшем положении, период Александра II — еще в более худшем. Внешняя политика Александра III освещалась только в отношении отдельных частных вопросов. Характерно, что русско-турецкая война 1877—1878 гг. так и осталась без своего историка. Был один вопрос — ближневосточный, который привлекал внимание историков, стремив-

шихся охватить проблему во всей ее полноте, на протяжении всего XIX в. Но вопрос этот трактовался исследователями преимущественно в плоскости юридической и публицистической. Труды военных историков, разрабатывавших отдельные вопросы из истории русской колониальной политики, были посвящены преимущественно стратегическим и тактическим операциям и отчасти методам колониальной экспансии — дипломатическую сторону дела они оставляли совершенно в стороне.

Все эти работы, при всей крупнейшей исторической ценности многих из них, не шли дальше накопления фактического материала. Общей концепции истории той международной борьбы, какую вела царская Россия на протяжении всего XIX в., дворянско-буржуазная историография, если не считать отдельных попыток, нам не оставила.

Те элементы концепции, какие прощупываются в этом старом историографическом наследстве, отличаются чертами классовой ограниченности. Актуальность тематики содействовала также тому, что буржуазно-дворянские историки, работавшие над вопросами внешней политики самодержавия XIX в., культивировали в своих трудах официальные легенды или ограничивались публицистическим подходом к вопросам.

У Богдановича Наполеону, отличающемуся «ненасытным властолюбием», «увлекаемому страстями» и стремящемуся «к преобладанию в Европе», противопоставляется Александр I как носитель «земного величия и небесной благодати», несущий народам Европы «слово мира».[1] У Соловьева вмешивающейся в европейские дела Франции противопоставляется Россия, которая «прямо выставляет свое начало и свою цель: действовать для блага человечества, общего спокойствия и независимости государств».[2] «Европа, — согласно Соловьеву, — была спасена неутомимой деятельностью Александра — Агамемнона среди царей».[3] То же положение доказывал и Татищев, дополняя его утверждением, что Николай I продолжал дело своего брата и что средством для осуществления его целей попрежнему являлся Священный союз.[4] Нужно сказать, что Татищев привносил новый момент в эту официальную концепцию, подчеркивая, что Николай I «считал своим правом независимо от них (своих союзников — *А. П.*) действовать» в восточном вопросе.[5] Татищев доказывал, что ошибка дипломатии Николая I заключалась в том, что слишком много было растрачено сил понапрасну на «спасение союзных нам государств от революционной за-

---

[1] М. Богданович. История отечественной войны 1812 г., I, 1—2, СПб., 1860.

[2] С. Соловьев. Император Александр I. Политика. Дипломатия, стр. 28. СПб., 1877.

[3] Там же, 560.

[4] С. Татищев. Внешняя политика Николая I, стр. 3—8, 37. СПб. 1887.

[5] Там же, 14.

разы, бывшей собственно для России опасностью призрачной»,[1] что в то же время не было проявлено достаточно энергии и твердости, чтобы защитить от «Европы» завоеванное Россией право преимущественного покровительства балканским христианам, то право, в существовании которого заключалось для России все значение восточного вопроса.[2] Отсюда же вытекало и даваемое тем же Татищевым определение русско-турецкой войны 1877 г. как войны, предпринятой «во имя человеколюбия, соображений высшего порядка, исключавших всякий своекорыстный расчет с нашей стороны».[3] Противопоставление злобной, своекорыстной, безнравственной, подверженной революционной заразе Европе — человеколюбивой, миролюбивой, носительницы высших нравственных начал России, какое свойственно концепции Татищева и его предшественников, было, как известно, возведено Данилевским в закон истории. Россия призвана, по Данилевскому, к разрешению восточного вопроса потому, что в вопросе этом проявляется борьба романо-германского или католического мира с миром греко-славянским или православным.[4] Эта же концепция была усвоена Бухаровым и развита в его исследовании, посвященном истории русско-турецких отношений.[5]

Актуальность исторической тематики содействовала скорейшему превращению буржуазно-дворянских историков, работавших в области внешней политики самодержавия XIX в., в публицистов и их исторических построений в оправдание проводившейся самодержавием внешней политики. История завоевания Средней Азии — и согласно Терентьеву, и согласно Мартенсу — сводилась к вынужденной обороне от «дикарей», «не признающих ни международных и никаких прав, кроме права силы».[6] Романовский выводил историю среднеазиатских походов 60-х годов из необходимости оказать «помощь» киргизам, страдающим от «неурядиц в степи».[7]

Необходимо подчеркнуть, что в позднейшее время историки из лагеря кадетской партии, той партии, лидер которой считал работу в области внешней политики своим первым призванием и который упрекал русское общество в «равнодушии» к вопросам внешней политики,[8] не дали ничего в области систематического освещения внешней политики XIX в. Иллюстрацией может служить «Курс истории Рос-

---

[1] С. Татищев. Ук. соч., стр. 626.
[2] Там же, 629—639.
[3] С. Татищев. Дипломатические беседы о внешней политике России, стр. 29—30. СПб., 1890.
[4] Данилевский. Россия и Европа, стр. 330, 425, 426. СПб., 1889.
[5] Бухаров. Россия и Турция, 100. СПб., 1878.
[6] А. Терентьев. История завоевания Средней Азии. I. 6—7. СПб., 1906.
[7] Д. Романовский. Заметки по среднеазиатскому вопросу, стр. 18. СПб., 1868.
[8] П. Милюков. Балканский кризис и политика Извольского, стр. 55. СПб., 1910.

сии XIX в.» А. Корнилова. Корнилов исходит из положения о том, что, достигнув берегов Черного и Каспийского морей, царизм мог считать «формирование государственной территории великого царства» законченным и сосредоточить «главные силы и средства страны» «на удовлетворении нужд самого народа».[1] В виду этого вопросами внешней политики XIX в. Корнилов на протяжении всего курса занимается мало, и они появляются только в связи с войнами. Войны, таким образом, не связаны у Корнилова с общим ходом внешней политики царизма, они оказываются не продолжением политики, а случайно разразившимися событиями, приносящими стране ту или иную степень разорения. Поэтому стержневой вопрос внешней политики царской России — ближневосточный — из истории Корнилова выпадает совершенно. Под влиянием факторов случайного характера колеблющийся Александр I начинает завоевание Кавказа.[2] «Подчиняясь голосу народному», требовавшему защитить греков от турецкого насилия, колеблющийся Николай I предпринимает продвижение на Балканах.[3] Восточная война 1853—56 гг. рассматривается тоже как эпизод и только как война с Турцией, «осложнившаяся вмешательством» Англии, Франции и Сардинии.[4] Причины этого вмешательства историк ищет только в позиции Франции, причем оказывается, что Наполеон III осаждал Севастополь с «определенной практической целью» — «освобождения Польши».[5]

Назревание «восточного вопроса» относится, по Корнилову, только к периоду царствования Александра II. Только к этому времени в качестве враждебной России силы на турецком Востоке появляется Англия.[6] Англо-русская вражда возникает на страницах корниловского «курса» не на Ближнем Востоке, а в Средней Азии, и возникает потому, что «наши военные власти, особенно начальники пограничных войск, были постоянно обуреваемы стремлением так или иначе восстановить нарушенный престиж нашей армии» и «лично отличиться».[7] В том же плане происходило и присоединение Амурского и Уссурийского краев. Изложением событий войны 1877—1878 гг. Корнилов фактически заканчивает обзор внешней политики царской России.

Подвергая вопросы внутренней политики детальному изучению, автор «Курса» давал не только крайне поверхностную и лишенную какого-либо классового анализа, но и неверную историю внешней политики царской России, Лишив царскую Россию той системы внешней политики, которую проводило самодержавие, Корнилов провинциализировал всю историю России XIX в. и уже тем самым дал искаженную картину ее.

[1] А. Корнилов. Курс истории России, I, 10—11, М., 1912.
[2] Там же, 268.
[3] Там же, II, 36.
[4] Там же, 111.
[5] Там же, 135.
[6] Там же, III, 201.
[7] Там же. 197 и 199.

Немногие строки «Курса», посвященные истории внешней политики, изобилуют многочисленными либеральными сентенциями, становящимися все более умеренными по мере приближения автора к концу XIX в. Наивное морализирование кадетского профессора по случайным поводам не помогло делу: никакой цельной концепции внешней политики царской России XIX в. в корниловском «Курсе истории России XIX в.» нет.

Было бы неправильно думать, что основные черты тех концепций внешней политики царской России XIX в., какие складывались в недрах буржуазно-дворянской историографии в разработке отдельных проблем, оставались без изменений. Достаточно указать на те сдвиги, какие заметны в трактовке дореволюционной историографией ближневосточной политики царской России. Тезис об исторической миссии России на Балканах, об идее преимущественного права покровительства балканским народам, как главном движущем факторе русской политики на Востоке, к началу XX в. эволюционирует в дворянско-буржуазной историографии применительно к реальной заинтересованности России в проливах. В исторической литературе, посвященной внешнеполитической тематике, давали себя знать известные «шаги» по пути буржуазного развития, хотя в этой области они неизбежно были гораздо менее значительны, чем в исторической литературе, посвященной вопросам внутренней политики царской России.

Взгляды мелкобуржуазной радикальной интеллигенции на вопросы внешней политики царской России XIX в. в дореволюционной исторической литературе не получили яркого отражения. Это приходится объяснять в значительной мере тем пониженным интересом, какой проявляла демократическая интеллигенция последней четверти XIX в. к вопросам внешней политики. Известно, что народничество 70-х годов (до образования «Народной воли», стояло на полуанархической точке зрения, было проникнуто отрицательным отношением к «политической революции и буржуазной политической свободе».[1] Землевольцы начисто выбрасывали из своего теоретического арсенала вопросы международной политики. Высказываний по интересующему нас вопросу в народнической печати 70-х годов крайне мало. Характерно, как подходил к вопросам внешней политики издававшийся в Женеве в 1875—1876 гг. орган анархистов-федералистов «Работник».

«Из-за чего воюют вот уже несколько лет в Туркестане? — читаем мы в журнале. — Мала Россия стала? Или губернатору да начальствам мест нехватило? Видно, начальство военное соскучилось, давно орденов не получало».[2]

Возвращаясь к той же теме в одном из последующих номеров, редакция журнала писала: «Завел Александр Николаевич грабеж в хи-

[1] В. И. Ленин. Соч., VIII, 361.
[2] Работник, № 1, ст. «Солдатчина, налоги и земство», январь 1875 г.

винских, да бухарских степях... пишут во все концы о победах христолюбивого воинства, — а какие там к дьяволу победы... переводят порох во славу царскую».[1] Вопросы внешней политики играли в журнале чисто служебную роль, роль материала агитационного порядка; главное было в «уничтожении» «заклятого врага» — «государства».[2]

Известно, что события 1876 г. нашли некоторый отклик в народнических кругах. К вспыхнувшему в связи с боснийско-герцеговинским восстанием добровольческому движению цитированный нами «Работник» отнесся сочувственно, видя в этом стремление к участию в «бунте в славянских землях».[3] В том же 1876 г. редакцией «Вперед» издается «Славянский сборник». Постепенно приближавшийся к позициям народничества Драгоманов входит в нелегальный Славянский комитет в Киеве, Желябов — в Одесский комитет. Тогда же Драгоманов выступил в петербургской газете «Молва» с призывом к войне с Турцией и к изгнанию турок из Европы,[4] а на страницах «Отечественных записок» появляется ряд статей Елисеева и Мордовцева, призывавших «земскую народную Россию» к «русскому крестовому походу» для свержения турецкого владычества на Балканах.[5] С таким же призывом выступил Михайловский, известный до того своим скептическим отношением к славянофильским теориям. Он говорил теперь о славянах, как о «бессословном трудящемся люде, который не может донести до рта им самим изготовленного куска»: «донести кусок полностью до рта значит выгнать турку».[6] Кравчинский, Сажин, Клеменц поехали на Балканы добровольцами. Известно, что добровольчество не захлестнуло широких народнических кругов. Фроленко наотрез отказался ехать на Балканы, собираясь ехать в Чигирин и предпочитая иметь в Чигирине свою Герцоговину, вместо того чтобы в Герцоговине искать свой Чигирин.[7]

Поехавшие скоро вернулись разочарованные. Михайловский уже в конце 1876 г. признавался в своих увлечениях балканским вопросом, а в марте 1877 г. говорил об «элементе спекуляции» в публицистической литературе, посвященной событиям на Балканах.[8] В своем отношении к происходившим на Балканах событиям народническая мелкобуржуазная интеллигенция, как известно, раскололась на два

---

[1] Работник, № 13, январь 1876 г.
[2] Там же, № 8, август 1875 г.
[3] Там же, № 6, июнь 1875 г.
[4] В статье «Чистое дело требует чистых рук». См. Д. Заславский, М. Драгоманов, стр. 147.
[5] Отечественные записки, стр. 366—369, июнь 1876 г.; стр. 264—265, декабрь 1876 г.
[6] Отечественные записки, VII и X, 1876. См. Михайловский. Соч., III, 841 и сл.
[7] Голос минувшего, № 5—6, 1916. Е. Колосов. стр. 330. См. Сборн. «О минувшем», СПб., 1909. Воспоминания М. Фроленко, стр. 234—287.
[8] Отечественные записки, III, 151—152, 1877.

лагеря. Характерны надежды, какие связывались с событиями у той ее части, у которой временно возродились впитанные вместе с бакунизмом элементы панславизма и которая ориентировалась на «приятие» войны.

Заметим попутно, что Драгоманов, которого, как известно, приходится рассматривать только как временного попутчика народничества, еще в 1872 г. выступил на страницах «Вестника Европы» с попыткой дать анализ международной обстановки, складывавшейся на Ближнем востоке. В основе развитой им концепции лежала мысль о том, что антагонизм между Россией и Пруссией составляет ось всей международной политики на Ближнем Востоке; мысль эта приводила Драгоманова к теории борьбы между германством и славянством. Если Драгоманов, работавший специально над национальным вопросом, в своей попытке освещения одной из национальных проблем не понял международной обстановки и поставил ее своею трактовкою на голову русским народникам, выключавшим из своего теоретического арсенала не только вопросы международной политики, но и вовопросы национальные, тем труднее было дать правильный исторический анализ событий. Не поняв действительного характера национально-освободительного движения в Герцоговине, переоценив силу его, не видя той поддержки, какую оказывали этому движению правительства Австрии и России, не понимая действительного характера австро-русских отношений на Балканах, Михайловский отправлялся от мысли о том, что «выгнать турку значит решить социальный вопрос» на Балканах. [1]

Не менее характерны доводы, приводившиеся теми теоретиками народничества, которые заняли в период балканского кризиса диаметрально противоположную позицию.

«Страданиям масс, — писал Лавров, — не могут помочь войны, которые передадут территории из одного государства в другое...» «Всякое увлечение, — говорил он, — отвращающее внимание общества от экономической болезни, в нем существующей, есть вред для существующего дела...» [2]

«Южные славяне, — пояснял Лавров свои взгляды на национальное движение на Балканах, — подданные Милана или Франца-Иосифа, могут, независимо от границ, образовать для народной пропаганды и организации плодотворную почву, которая вызвала бы в надлежащую минуту народное движение в чисто социалистическом духе во всех юго-славянских землях». [3]

Заслуживают особого внимания взгляды, какие развивал по вопросу о русской политике на Балканах народнический публицист Кривенко, выступавший в 1878 г. с полемикой против Костомарова.

[1] Михайловский. Соч., III, 837—838.

[2] Вперед, № 42, октябрь 1876 г., ст. Лаврова «Русские перед южнославянским вопросом».

[3] Там же, № 44, октябрь — ноябрь 1876 г.

Считая, что войны, которые вел Николай I с Турцией, были лишены для России всякого «жизненного значения» и преследовали цели только идеологического порядка, Кривенко развивал мысль о том, что у болгар и сербов гораздо больше «духовного родства» с Австрией, нежели с Россией, что босняки — убежденные австрофилы и что «Австрия не может нанести никакого удара по самостоятельности» балканских народов. Кривенко доказывал, что разговоры о национальном гнете, какой испытывают балканские славяне от турецких властей, являются выдумкою и что болгарские и сербские крестьяне гораздо больше страдают от своих единоплеменных капиталистов, нежели от турецких властей. Кривенко приходил к выводу, что вопросы национальных движений балканских народов и вопросы международной борьбы на Балканах как «замедляющие поток истории», должны уступить место «внутренним вопросам», которые «гораздо более возвышенны и общи». Кривенко призывал своих соотечественников, оставив Балканы, обратиться лицом к русской «деревне». [1]

Как бы ни были значительны расхождения между представителями народничества в период балканского кризиса второй половины 70-х годов, для них было обще одно: 1) непонимание значения национальной проблемы, выражавшееся у одних в том, что буржуазно-демократическое движение принималось за социалистическую революцию, у других — в том, что национальная проблема сбрасывалась со счетов революционной стратегии; 2) непонимание значения вопросов международной борьбы, выражавшееся у одних в том, что акции секретной дипломатии европейских держав принимались за чистую монету, у других — в том, что акциям этим не придавалось никакого значения и все вопросы международной политики и международной борьбы выбрасывались за борт истории.

Не приходится удивляться тому, что ни по одному интересующему нас вопросу международной политики не высказалась публицистика чернопередельцев, которые, по словам Маркса, были уверены, что «Россия должна одним махом перескочить в анархистско-коммунистически-атеистический рай». [2]

Не много может предъявить по интересующему нас вопросу и народовольческая журналистика.

Можно даже сказать, что вопросы внешней политики приобретали в глазах мелкобуржуазных радикалов политически одиозный характер. В статье «Наша печать и ее грех перед народом», помещенной в одном из номеров легального «Русского богатства» за 1886 г., народнический публицист выражал сожаление о том, что

---

[1] Отечественные записки, апрель 1878 г., ст. С. Н. Кривенко «Г-н Костомаров об исторической задаче». См. С. Кривенко. Соч., I, 394—412. СПб., 1911.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XXVII, 100.

печать уделяет внимание вопросам внешней политики, мало занимаясь тем, что делается «у нас под носом». «Вместо того чтобы заниматься Болгариями, — писал он, — занялись бы Опочками, Суджами и Царевококшайскими... Великое зло было бы предупреждено».[1] А когда мелкобуржуазным радикалам случалось высказываться о том или ином конкретном проявлении этого «зла» в области внешней политики, отношение их к царизму как носителю «зла» застилало перед ними конкретные вопросы той борьбы, какую вела Россия на международной арене, все вопросы международной политики. «Поведение России во всех своих видоизменениях оставалось всегда одинаково позорным», — заявлял в том же году нелегальный народовольческий орган,[2] определяя внешнюю политику царской России как универсальное абсолютное зло, не видя на международной арене никаких иных носителей «зла», кроме царизма, и обращаясь со словами поощрения к ставшему в Болгарии у власти министерству австрофильской ориентации, беспощадно расправлявшемуся со своими политическими противниками.

Известно, что в те годы, когда раскалывалась деревня, «вместе с ней раскололся и старый русский крестьянский социализм, уступив место, с одной стороны, рабочему социализму; с другой — выродившись в пошлый мещанский радикализм».[3] В области освещения вопросов внешней политики этот мещанский радикализм проявлялся, с одной стороны, в своеобразной царевококшайской ориентации, которая в дальнейшей своей эволюции вела к мелкобуржуазному пацифизму. Он готов был проявиться в те же 80-е годы в своеобразной теории Южакова об англо-русской борьбе как о борьбе русского «мужика» с «английским лендлордом».[4] В дальнейшем, в 90-х годах, он проявлялся у некоторых эпигонов народничества в историческом оправдании происходящего на Дальнем Востоке раздела Срединной империи.[5] А когда дела царизма вовне и внутри пошли хуже и на сцене появился японский империализм, мелкобуржуазные радикалы заметались между проповедью борьбы с «желтой опасностью»[6] и внешнеполитической ориентацией на Японию.

В этом же плане шло формирование внешнеполитической ориентации и в лагере меньшевизма. Ни одной работы по истории внешней политики царской России XIX в. от меньшевиков не осталось. Характерно, что Н. Рожков в последних двух томах своей 12-томной «Истории России», обнимающих 788 страниц и посвященных 80-летнему периоду русской истории, уделяет вопросам внешней политики не более 15 страничек, крайне бедных по содержанию.

---

[1] Русское богатство, 197—204, декабрь 1886 г.
[2] Листок народной воли, № 3, ноябрь 1886 г.
[3] В. И. Ленин. Соч., I, 165.
[4] С. Н. Южаков. Англо-русская распря. СПб., 1885.
[5] Русское богатство, № 2. 1898. С. Южаков. Политика, стр. 107—131.
[6] Там же, № 3, 1904. С. Южаков. Политика, стр. 125—136.

Не менее характерна в этом отношении и меньшевистская публицистика. В начале XX в., когда исторические события потребовали ответа по ряду международных вопросов и прежде всего по вопросу об отношении к русско-японской войне, меньшевики дали такой ответ. «Ни победа, ни поражение, а прекращение войны»... — писал Дан в июне 1904 г.[1] Лозунг «мира во что бы то ни стало» выставил Мартов в январе 1905 г.[2] За ним с лозунгом «мир и свобода» шел предатель Троцкий. Тогда же меньшевики начали становиться на позиции социал-шовинизма, который таким пышным цветом расцвел в период первой империалистической войны.

Павлович, бывший в ту пору меньшевиком, изображал японский империализм как «молодого птенчика», «беспомощного слабого Ниппона», выпорхнувшего из «теплого материнского гнездышка», чтобы сразиться с напавшим на него его «вековым притеснителем», «хищным русским орлом».[3]

Три года спустя, когда в противовес тройственному союзу сложилось тройственное согласие, Павлович, примиряясь с фактом создания тройственного союза, определял образование Антанты как «одно из самых мрачных явлений международной политики последних десятилетий»,[4] а юнкерской Германии приписывал «выдающуюся роль в успехе персидского революционного движения» и считал ее интересы «совпадающими» с интересами «пробуждающегося к новой жизни» и «стремящегося к политической и национальной независимости» мусульманства.[5]

В убогом теоретическом и политическом арсенале мелкобуржуазных радикалов на рубеже XX в. было много старого оружия, унаследованного от народнических предков. Известно, что народники, вопросам экономического и социально-политического развития России давали такое решение, которое, по словам Ленина, оказалось «никуда негодным, основанным на отсталых теориях, давно уже выброшенных за борт Западной Европой, основанных на романтической и мелкобуржуазной критике капитализма, на игнорировании крупнейших фактов русской истории и действительности».[6]

К числу вопросов, которые игнорировались народнически настроенной мелкобуржуазной интеллигенцией, игнорировались принципиально, как идущие «от лукавого», принадлежали и вопросы внешней политики царской России XIX в. А когда жизнь заставляла давать ответы на эти вопросы, ответы давались «никуда негодные, основанные на отсталых теориях».

Недаром Энгельс в 1890 г. указывал на то, что «русские рево-

---

[1] «Искра» № 69, 10/VI 1904 г. Ст. «Дорогая цена».
[2] Там же, № 83, 7/I 1905. Ст. «На верном пути».
[3] М. Павлович. Русско-японская война, стр. 46, 1925.
[4] Общественное движение в России в начале XX в., IV, 248. СПб., 1910.
[5] Там же, 233.
[6] В. И. Ленин. Соч., II, 323.

люционеры подчас обнаруживают сравнительно очень слабое знакомство с этой стороной русской истории. Это объясняется, во-первых, тем, что в самой России на этот счет допускается только официальная легенда, а во-вторых, многие слишком презирают царское правительство, считая его по его ограниченности и продажности не способным ни на какие разумные действия. В области внутренней политики это, впрочем, и верно; тут бессилие царизма совершенно очевидно. Однако нужно знать не только слабые, но и сильные стороны противника. А внешняя политика — это безусловно та область, в которой царизм силен, очень силен...» [1]

Чтобы понять то положение, какое создалось в области изучения истории внешней политики царской России XIX в., надо иметь в виду, что на ряду с официальною легендою, какая творилась в этих вопросах в пределах царской России, наперекор этой легенде и направленная прямо против нее, в буржуазной западноевропейской историографии и публицистике творилась другая легенда, гораздо более искусная, богатая и импозантная. Заметим попутно, что русская буржуазно-дворянская археография в вопросах международной политики XIX в. не оказала историкам нужной поддержки. Так называемая «секретная» переписка, хранившаяся в русских дипломатических архивах, как правило, не публиковалась и, как правило же, становилась достоянием западноевропейских публицистов раньше, чем стать предметом изучения русских историков, громадное большинство которых доступа к архивным первоисточникам также не получало. [2]

В результате западноевропейская историография в лице Bapst, Hanotaux, Charles Roux, Schimann и др. могла претендовать даже на то, чтобы в таком коренном для русской внешней политики во-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 6.

[2] Богданович, Татищев, Зайончковский, отчасти А. Н. Попов (автор книги «Дипломатические сношения России перед войной 1812 г.») — вот и весь перечень историков внешней политики XIX в., имевших доступ к дипломатическим архивам. Директор гл. архива мин. ин. дел Горяинов и советник мин. ин. дел Ф. Мартенс, разумеется, этого доступа не могли не иметь. С. М. Соловьеву приходилось работать над иностранными источниками.

Публикации, предпринятые в. кн. Николаем Михайловичем по дипломатической истории александровского царствования, также основаны на материалах иностранных архивов. В то же время основная секретная дипломатическая переписка российского мин. ин. дел (главным образом по восточному вопросу), относящаяся к 20-м гг. XIX в., публиковалась в Лондоне английским публицистом Уркартом (в сборниках, издававшихся в 1836—1837 гг. под заглавием «The Portfolio a collection of State. Papers and other documents»). Дипломатическая переписка российского мин. ин. дел с прусским дипломатическим ведомством за период 1801—1808 гг. оказалась опубликованной в Берлине. Переписка министерства по греческому вопросу за период 1821—1830 гг. была опубликована в Вене. Переписка по вопросу об оккупации Болгарии 80-х гг. частично была опубликована в Софии.

просе, как ближневосточный, заменить собою русскую историческую науку. В результате даже советские историки вынуждены были одно время в качестве основного пособия по истории международных отношений рекомендовать вузовцам работу представителя английской буржуазной историографии Гуча.[1]

Необходимо подчеркнуть, что классовый характер многих работ представителей западноевропейской историографии до сих пор остается невскрытым и творимые в них «легенды» принимаются часто некритически, на веру. Казалось, что такой обстоятельный и относительно объективный английский историк, как Гуч, может допускать известные отступления от истины в области таких фактов английской колониальной политики, как подавление махдистского восстания в Египте в 80-х годах XIX в. Но очень мало подвергали сомнению правильность даваемого Гучем освещения таких основных вопросов международной политики, как ближневосточный или среднеазиатский. Не отдавали себе ясного отчета в том, что Гуч дает такую трактовку этих вопросов, которая представляет собою прямое историческое оправдание политики, проводившейся империалистической Англией. Так, когда Гуч факт аннексии о. Кипра объясняет необходимостью защиты Турции от России,[2] когда, согласно Гучу, Англия начинает войну с Афганистаном в результате «вызванных Россией затруднений, в какие попал афганистанский эмир», и целью этой войны оказывается «обеспечение научных границ Индийской империи»,[3] когда английская оккупация Египта изображается Гучем как простое «увеличение британского гарнизона», вызванное неосторожной политикой неопытного «юного хедива»,[4] — становится ясным, что здесь мы имеем дело не с объективным исследованием английского историка международных отношений, но с рядом явных фальсификаций и с официальными британскими легендами. Здесь мы имеем своего рода продолжение проводимой британским правительством политики средствами, находящимися в распоряжении британской буржуазной историографии.

То же в еще большей мере следует сказать о западноевропейской исторической литературе, появлявшейся в дореволюционный период, в частности, об английской исторической литературе периода, предшествующего заключению англо-русского соглашения. Возьмем в виде иллюстрации получившую в свое время широкое распространение и даже переведенную на русский язык работу проф. Паркера, посвященную истории Китая.[5] Знаменитая «опиумная война», эта первая вооруженная агрессия Англии в Китае, согласно Паркеру, была вызвана не чем иным, как «недоразумением по вопросу о торговле

---

[1] Г. Гуч. История современной Европы, пер. с англ. М., 1925.
[2] Там же, стр. 20.
[3] Там же, 23.
[4] Там же, 164.
[5] Э. Паркер. Китай, его история, политика и торговля, пер. с англ. СПб., 1903.

опиумом и отказом китайцев уплатить стоимость принятого ими от англичан опиума»; китайцы, по словам Паркера, «сами признают, что ответственность за первоначальное распространение этого продукта падает на них самих». Вторая и третья войны Англии с Китаем явились, согласно Паркеру, результатом «трений» и «натянутых отношений», создавшихся вследствие упорного нежелания вице-короля Кантона допускать торговлю английских купцов в туземной части города.[1] Интервенцию Франции, действовавшей в ту пору в союзе с Англией, Паркер объяснял необходимостью защиты находившихся в Китае христиан, причем «на своем обратном пути из Китая, по словам Паркера, начальник французской эскадры завоевал часть Кохинхины».[2] Обрисовав в таких идиллических красках захватническую политику английского и французского капитала и поставив вопрос о том, какая держава извлекла для себя выгоды из столкновения Китая с Англией и Францией, Паркер утверждал, что «выгоды эти извлекла для себя одна только Россия».[3]

Возьмем трактовку среднеазиатской проблемы в работе члена Лондонского королевского географического общества Гамильтона, посвященной афганскому вопросу.[4] Работа эта писалась в ту пору, когда англо-русское соперничество в Средней Азии смягчалось благодаря заключавшемуся в 1907 г. англо-русскому соглашению. В работе этой свойственное английским теоретикам среднеазиатской проблемы традиционное руссофобство должно было проявляться в смягченных чертах. Как обрисовал Гамильтон английскую политику в Средней Азии? Она рисуется им как бескорыстная, лояльная по отношению к среднеазиатским народам, отличающаяся исключительной пассивностью, заслуживающая даже упрека в нерадивости. В противовес ей Россия ведет, по Гамильтону, такую агрессивную политику, что даже заражает агрессивными настроениями шаха, у которого пробуждаются притязания на Герат. Экспедиция Бернса в Афганистан — только акт законной самообороны Англии от «козней русской дипломатии». Англо-афганская война 1838—1842 гг., как и англо-персидская война за Герат 1857 г. и англо-афганская война 1878—1880 гг.,— все это только ряд законных «актов самообороны» со стороны Англии. На всем протяжении XIX в. бескорыстной, лояльной и беспечной Англии приходится беспрестанно систематически отбиваться в Средней Азии от «предательских», «бесчестных», «гнусных замыслов» русской дипломатии.[5]

Если так обстояло дело в английской историографии на рубеже XX в., — в работах предыдущих десятилетий политические мотивы

[1] Э. Паркер. Китай, его история, политика и торговля, пер. с англ. СПб., 1903, стр. 167—171.
[2] Там же, 185—186.
[3] Там же, 167—171.
[4] Agnus Hamilton. Afganistan. Имеется русское издание: А. Гамильтон. Афганистан. СПб., 1908.
[5] Там же, 1—9, 40, 41.

англо-русской борьбы должны были проявляться с еще большей резкостью.

В своей историко-публицистической работе, относящейся к 1889 г. и посвященной продвижению России в Средней Азии, с ярко выраженной антирусской концепцией выступал Керзон.[1] Еще более резко на ту же тему выступал в 1875 г. Раулинсон.

Раулинсон доказывал, что Россия, проводящая «политику погромов» в Средней Азии и «запустившая свои зубы дракона в Хорасан», угрожает вторжением в Персию, стремится к завоеванию Герата и Кабула, к захвату Египта и Индии. Раулинсон указывал на историческую ошибку, допущенную Англией, в 1854/55 г. своей пассивностью оттолкнувшею от себя Персию, надеявшуюся на то, что англичане пошлют свои индийские войска на кавказский театр, с тем чтобы поднять восстание в Грузии и Армении и соединиться с Шамилем. Раулинсон приходил к заключению о необходимости для Англии «выйти из летаргии» и во имя защиты Персии и Герата оккупировать Афганистан.[2]

В 1874 г. Маркхэм давал «историческое» обоснование английской гегемонии в Аравии и в Южном Иране.[3] Наконец, 30-е годы XIX в. отмечены кипучей историко-публицистической деятельностью Уркарта, который, как мы уже говорили, благодаря своим изданиям секретных документов из русских дипломатических архивов, явился своего рода заместителем бездействовавшей русской буржуазно-дворянской археографии. Издававшиеся им сборники, известные под именем «Portfolio», помимо специфически подобранных архивных документов, содержали также статьи историко-публицистического характера, преследовавшие ярко выраженные политические цели. Подбор документов был таков, что русская политика в Европе вырисовывалась как политика реакционная и агрессивная, стремящаяся к утверждению русского влияния в Германии, а политика Меттерниха противостояла ей как «истинно либеральная» и чуждая завоевательных стремлений. Русская политика в Азии вырисовывалась перед читателем как политика ярко наступательная, направленная против интересов Англии, а политика Англии противостояла ей как политика «законной самообороны» и «бескорыстной защиты» азиатских народов от русской опасности. Публикация документов ставила своей целью подорвать австро-русский союз, содействовать политической изоляции России в Европе, подготовить английское «общественное мнение» к борьбе с Россией.

В статье, посвященной вопросу об англо-русских торговых отношениях, редакция сборников била тревогу по поводу того, что Россия выпадает из рядов потребителей английской мануфактуры, что она сама стремится вырвать у Англии рынки Молдавии и Валахии,

[1] G. Curson. Russia in Central Asia. 1889.

[2] M. Rawlinson. England and Russia in the East, 5, 40, 49, 69—91, 327—381, 385—393, 1875.

[3] Markham. History of Persia. 1874.

Кавказа, Персии и даже Турции. Так как русская система запретительных тарифов направлена прямо против Англии, английское правительство должно увеличить пошлины на предметы русского вывоза, чтобы побудить русское дворянство направить политику царя в английское русло, напомнив ему о том, что вражда Павла к Англии стоила ему жизни. [1]

В статье, трактующей о русской политике на Ближнем Востоке, развивалась мысль о том, что Наполеон своим походом в Россию защищал интересы европейской цивилизации от русского «варварства» и что ошибка английских политиков заключалась в том, что они не вступили в коалицию с Наполеоном.

Воинствующие публицисты и «историки» из «Portfolio» предупреждали о тех политических последствиях, какие будет иметь дальнейшее усиление мощи России, блокирующейся с Пруссией. «По одному сигналу из Петербурга, повторенному в Константинополе, Берлине и Александрии, вся Восточная и Центральная Европа, вся Турция, Европейская и Азиатская, вся доступная для торговли часть Африки, Аравии и Персии окажутся для Англии и для Франции безнадежно запертыми на замок, ключ от которого будет находиться в Петербурге...» Поддержать Турцию и «отбросить московитов в их родные снега» — таков единственный выход из положения. [2]

Так как завоевание Кавказа является, по Уркарту, самым важным событием в истории России, открывая ей возможность господствовать на Каспийском и Черном морях и угрожать Турции и Ирану, Англия должна сделать все, чтобы помешать России в овладении Северным Кавказом и Дагестаном. [3]

Разоблачая русскую политику в Польше и «Черкесии», публицисты из «Portfolio» противопоставляли России как историческому угнетателю малых народов Англию как призванную историей к защите и турок, и молдаван, и валахов, и поляков, и черкесов, и иранцев. Чтобы защитить и себя и других от русского «варварства», Англии не остается ничего иного, как овладеть Дарданеллами. [4]

Организованное при содействии Пальмерстона историко-публицистическое предприятие Уркарта служило питательной базой не только для формирования политических настроений английского «общественного мнения», но и для создания внешнеполитических легенд в западноевропейской и особенно английской историографии. Недаром Энгельс, знакомый с силой влияния Уркарта, предупреждал: «Постоянные занятия русской дипломатией привели Уркарта к убеждению, что она... единственный активный фактор современной истории; все же другие правительства — лишь пассивные оружия в ее руках, так что, если бы не его столь же преувеличенная оценка

[1] «Portfolio» во франц. изд., II, № 10, 37—44, 1836.
[2] Там же, II, № 12, 113—118.
[3] Там же, I, 298—299 и 495—496.
[4] Там же, I, № 4, 8—12.

силы Турции, нельзя было бы понять, почему эта всемогущая русская дипломатия давно уже не захватила Константинополя». Уркарт, по мягкому выражению Энгельса, стал «в позу некоего восточного пророка, возвещающего, вместо простых исторических фактов, тайную мистическую доктрину на таинственном сверхдипломатическом языке, доктрину, исполненную намеков на мало известные и едва ли даже установленные факты».[1]

Пример историко-публицистической деятельности Уркарта как своего рода историка русской дипломатии, выступавшего в ту пору, когда Англия стремилась сбросить Россию с занятых ею на Ближнем Востоке позиций и готовила свое наступление в Средней Азии, дает лишнюю иллюстрацию той сугубо политической роли, какую играют внешнеполитические концепции в работах буржуазных историков. Пример Уркарта напоминает о том, что, работая в области истории международной политики, историки, отражая интересы определенного класса, становятся вместе с тем участниками и продолжателями той борьбы, какую ведет данное государство на международной арене. Пример Уркарта показывает, какие специфические трудности и опасности стояли перед русской историографией, вынужденной в вопросах истории международной политики полагаться в значительной мере на заграничные публикации. Недаром еще в 1887 г., выступая со своим исследованием, посвященным истории внешней политики Николая I, представитель русской дворянской историографии С. Татищев признавался, что чувствует себя в положении воина, «вооруженного дрекольем» и отправляющегося в поход против неприятеля, снабженного усовершенствованным оружием науки и техники.[2]

* * *

Накануне и в годы первой русской буржуазно-демократической революции вопросы внешней политики приобрели актуальный интерес и значение также и для рабочего класса России и его авангарда — партии большевиков. Подобно Марксу, зорко следившему и чутко откликавшемуся на события международной жизни, Ленин не выпускал этих вопросов из поля своего зрения. Еще в 1900 г. он написал известную статью, посвященную «китайской войне».[3] Уже тогда на конкретном примере Ленин показал, как следует подходить к фактам международной политики. Он ставил прежде всего вопрос о том, в интересах каких классов ведет царская Россия данную войну. Не ограничиваясь этим, он показал, какие международные силы участвуют в войне, и дал исторически обоснованный анализ международной обстановки, создавшейся вокруг Китая как объекта захватнической политики великих держав. Анализируя в 1901 г. надвинувшийся на Россию промышленный кризис, Ленин подчеркивал обост-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 5—6.
[2] С. Татищев. Внешняя политика Николая I, VII и VIII.
[3] В. И. Ленин. Китайская война. Соч., IV, 60—64.

рившуюся международную борьбу за раздел мира и раздел Китая, явившегося для империалистов лакомым куском, «который сразу ухватили зубами капиталисты Англии, Германии, Франции, России и даже Италии».[1] Во время русско-японской войны в своей знаменитой статье «Падение Порт-Артура»[2] Ленин увязывал такой факт международной политики, как крушение царского господства в Квантуне, с внутренним положением России, с гнилостью царизма и с перспективами русской революции. Исходя из интересов революции, Ленин и большевики высказались за поражение царского правительства в начавшейся войне с Японией.

Позиция, занятая большевистской партией в вопросе об отношении к русско-японской войне, с предельной ясностью сформулирована в «Кратком курсе истории ВКП(б)»: «Народные массы не хотели этой войны и сознавали ее вред для России. За отсталость царской России народ расплачивался дорогой ценой.

Большевики и меньшевики по-разному относились к этой войне. Меньшевики, в том числе и Троцкий, скатывались на позиции оборончества, то-есть защиты «отечества» царя, помещиков и капиталистов.

Ленин и большевики, наоборот, считали, что поражение царского правительства в этой грабительской войне полезно, так как приведет к ослаблению царизма и усилению революции.

Поражения царских войск вскрывали перед самыми широкими массами народа гнилость царизма. Ненависть к царизму в народных массах с каждым днем росла. Падение Порт-Артура — начало падения самодержавия, — писал Ленин.

Царь хотел войной задушить революцию. Он добился обратного. Русско-японская война ускорила революцию».[3]

В ту пору капиталистический мир уже вступил в бурную империалистическую полосу своего развития, чреватую новыми войнами и революциями, а русский пролетариат сделался авангардом международного революционного пролетариата, и «центр революционного движения должен был переместиться в Россию».[4]

«В России подымалась величайшая народная революция, во главе которой стоял революционнейший в мире пролетариат, имевший в своем распоряжении такого серьезного союзника, как революционное крестьянство России. Нужно ли доказывать, что такая революция не могла остановиться на полдороге, что она в случае успеха должна была пойти дальше, подняв знамя восстания против империализма?».[5]

---

[1] В. И. Ленин. Соч., IV, 165.
[2] Там же, VII, 44—50.
[3] История ВКП(б), стр. 53—54. 1938.
[4] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 7, 11-е изд.
[5] Там же, 5.

Как класс, выступивший на арену активнейшей политической борьбы, пролетариат не мог быть безучастным зрителем той внешней политики, какую проводила тайная дипломатия помещиков и верхушки буржуазии. Он не мог быть безучастным зрителем этой политики не только потому, что благодаря связанным с этой политикой вопросам — территориальным, платежей по внешним займам, таможенных тарифов, импорта иностранных товаров, производства товаров на экспорт, наконец вопросам войн, участником которых он с неизбежностью становился, — он оказывался непосредственно уже вовлеченным в происходящую на международной арене борьбу. Он не мог быть безучастным зрителем проводимой господствующими классами внешней политики также и потому, что, борясь с последними, он боролся за овладение государственной властью, за овладение правом распоряжаться внешней политикой государства, а следовательно за непосредственное участие в международной борьбе, за возможность воздействовать на международную обстановку в интересах борьбы международного пролетариата. Перед пролетариатом вставала задача дать марксистское теоретическое обоснование своих позиций в вопросах международной политики. Это же приводило к постановке на очередь вопроса о создании марксистской концепции истории внешней политики России.

«Отечество, т. е. данная политическая, культурная и социальная среда, — писал Ленин в 1908 г., — является самым могущественным фактором в классовой борьбе пролетариата... Пролетариат не может относиться безразлично и равнодушно к политическим, социальным и культурным условиям своей борьбы, следовательно, ему не могут быть безразличны и судьбы его страны. Но судьбы страны его интересуют лишь *постольку,* поскольку это касается его классовой борьбы». [1] А позднее, в эпоху империалистической войны, давая отповедь «империалистическим экономистам», отрицавшим право нации на самоопределение, Ленин определял это отрицание как извращение марксизма, как «карикатуру на марксизм» «В *действительно*-национальной войне слова «защита отечества» *вовсе* не обман, и *мы вовсе не против нее»,* — писал Ленин, поясняя, как надо «отличать действительно национальную войну от империалистической, прикрываемой обманно-национальными лозунгами». [2] В империалистическую эпоху, при анализе империалистических войн, Ленин требовал оценки каждой данной войны в целом с точки зрения интересов мирового пролетариата.

При изучении войны Ленин требовал исходить прежде всего из правильной оценки эпохи, но не ограничиваться этим: «Эпоха потому и называется эпохой, что она обнимает сумму разнообразных явлений и войн, как типичных, так и нетипичных». [3]

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XII, 314.
[2] Там же, XIX, 197.
[3] Там же, 202.

Ленин требовал поэтому конкретного классового анализа каждой конкретной войны: «Основной вопрос при обсуждении социалистами того, как следует оценивать войну и как следует относиться к ней, состоит в том, из-за чего эта война ведется, какими классами она подготовлялась и направлялась».[1]

Ленин требовал вместе с тем подходить к каждой войне как к процессу, уметь рассматривать ее диалектически: «Основное положение марксистской диалектики состоит в том, что все грани в природе и обществе условны и подвижны, что нет *ни одного* явления, которое бы не могло при известных условиях превратиться в свою противоположность. Национальная война *может* превратиться в империалистическую *и обратно*».[2]

При изучении всякой войны Ленин требовал также ясного понимания «политики европейских держав в целом». «Надо взять всю политику всей системы европейских государств в их экономическом и политическом взаимоотношении, чтобы понять, каким образом из этой системы неуклонно и неизбежно вытекла данная война».[3] Ленин указывал, что война есть продолжение политики иными, именно насильственными средствами; он требовал поэтому изучения «исторической связи всякой войны с предшествовавшей ей политикой каждой страны, каждого класса, который господствовал перед войной и обеспечивал достижение своих целей так называемыми «мирными» средствами».[4] Ленин требовал, таким образом, углубленного изучения истории внешней политики, истории международной борьбы.

В настоящее время, когда на территории шестой части мира, где исторически сложилась старая Россия, руками того же русского народа и всех других населявших Россию народов построено под руководством товарища Сталина великое многонациональное социалистическое государство, этот «прообраз грядущей Мировой Советской Социалистической Республики»,[5] изучение истории борьбы русского народа не только со «своими», но и с «чужими» поработителями приобретает первостепенное научное и политическое значение, становится нашей неотложной задачей.

В эпоху первой революции, в эпоху «пролога» Великой Октябрьской Социалистической революции, речь могла итти, разумеется, только в плоскости первоначальной постановки вопроса и первых опытов, которые объективно могли претендовать только на значение расчистки и проторения путей.

Нужно было прежде всего критически пересмотреть старое буржуазно-дворянское историографическое наследство, но пересмотреть

---

[1] В. И. Ленин, XXX, 332.
[2] Там же, XIX, 181.
[3] Там же, XXX, 334.
[4] Там же.
[5] И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 97, 1934.

так, чтобы, вскрыв классовые цели старых исторических построений, отбросив свойственную им лженаучную шелуху, сохранить зерна заключавшейся в них исторической правды. Нужно было, далее, заменить историографическое «дреколье» более усовершенствованным оружием и критически освоить работы западноевропейской историографии, но сделать это так, чтобы не оказаться в плену у присяжных историков «чужих» поработителей. Нужно было, наконец, — но это стало возможным только после победы социалистической революции, — овладеть всей полнотой дипломатических первоисточников. Разоблачая классовую ограниченность старой историографии, нужно было «охватить, изучить все его [предмета] стороны, все связи и «опосредствованияя».[1] Нужно было в то же время уметь выделить особо самое существенное и подвергнуть его самостоятельному анализу, не упуская из виду всей совокупности целого. Нужно было далее проявить «полную научную трезвость в анализе объективного положения вещей».[2] Нужно было, словом, дать объективную историю внешней политики в свете марксистско-ленинского учения, так как революционному пролетариату не страшна объективная историческая правда, как она была страшна «своим» и до сих пор ненавистна «чужим» угнетателям,— интересы революционного пролетариата и объективная истина совпадают.

* * *

Исторические работы Покровского, посвященные вопросам внешней политики царской России XIX в., представляют собою попытку противопоставить освещению этих вопросов старой буржуазно-дворянской историографией новое освещение. Известно, что Покровский как историк складывался в тот период, когда «широкое распространение марксизма сопровождалось некоторым принижением теоретического уровня»,[3] ростом «легального марксизма».

Известно, что, по словам самого Покровского, это был «марксизм без революции», который «был вполне приемлем для левого крыла кадетов, многие из которых в теории мало отличались от правых меньшевиков».[4] Это был, по его собственным словам, «марксизм минус диалектика, марксизм минус революция»[5] Покровский, как мы знаем, не остановился на позициях «легального марксизма». Но он вошел в революцию без понимания марксистско-ленинской диалектики.

В «практике», как известно, это сказалось у Покровского в его

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XXVI, 134.
[2] Там же, XII, 32.
[3] Там же, IV, 379.
[4] Историческая наука и борьба классов, в. I, стр. 92.
[5] Там же, в. 2, 267—268.

участии в период реакции в антипартийной группе «Вперед», членов которой Ленин называл «ликвидаторами слева», деятелями левой фразы и фактическими проводниками буржуазных влияний на пролетариат. В «практике» это проявилось в принадлежности Покровского к сложившейся после Октября предательской группировке «левых коммунистов». «Теория» была неразрывна с «практикой». Еще в 1904 г. Покровский выступал с критикой неокантианца Риккерта с махистских позиций, считая, что «в действительности существует только хаос первичных ощущений»,[1] что «преодолеть» этот хаос «можно только одним путем, упрощая его». «Из миллиона действительных и возможных впечатлений, — писал тогда Покровский, — мы берем два-три, которые нам нужны для практических целей ориентировки».[2] Ленинское требование о всестороннем объективном изучении предмета во всех его опосредствованиях тем самым Покровским отвергалось. Как богдановец и махист, Покровский еще тогда приходил к отрицанию объективности познания и объективности исторической науки. Отсюда, из этих антидиалектических, антиленинских методологических установок вытекало и пренебрежение к историческим фактам, стремление к построению безжизненных, абстрактных исторических схем, склонность к субъективизму в интерпретации исторического процесса. Отсюда вытекала опасность верхоглядства в историческом изучении, опасность вульгаризации истории как науки, превращения ее в «политику, опрокинутую в прошлое», в инструмент конъюнктурного назначения, из которого можно извлекать любые звуки и любые мотивы, словом — опасность полной фактической ликвидации истории как науки.

С таким теоретическим багажом выступил Покровский на арену русской историографии. Крупный изобразительный и литературный талант, живой полемический темперамент, большая работа, проделанная по овладению исторической литературой, в частности западноевропейской, помогли Покровскому занять одно из первых мест в рядах тех представителей крайнего левого крыла историков, которые находились под известным влиянием марксизма.

Тем настоятельнее необходимость критически пересмотреть все литературное наследство Покровского и всей его пресловутой «школы». Особого внимания заслуживают работы Покровского, посвященные внешней политике царской России XIX в. Именно в этой области, противопоставляя старым концепциям русской буржуазно-дворянской историографии свою, по видимости новую и оригинальную концепцию, Покровский внес в русскую историческую литературу такую концепцию, которая в действительности оказывалась не новой, не оригинальной, но была полна фактических ошибок, внутренних противоречий и антимарксистских извращений. Критическому раз-

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, в. 2, стр. 21.
[2] Там же, 23.

бору этих взглядов приходится уделять особое внимание еще и потому, что они дают ключ к пониманию внешнеполитической ориентации Покровского и как публициста и как учителя своих учеников, из которых многие оказались заклятыми врагами народа.

* * *

Взгляды Покровского на основные вопросы истории внешней политики царской России XIX в. неоднократно подвергались существенным изменениям. Политическая обстановка момента, круг источников, на основании которых Покровский делал свои построения, те общие антимарксистские исторические схемы, от которых он отправлялся на определенных этапах, — все эти моменты приводили к тому, что о единой стройной концепции истории внешней политики России в XIX в. у Покровского говорить не приходится. Можно говорить только о ряде концепций, относящихся к различным периодам, создававшимся в различных конъюнктурных условиях, применительно к различным задачам, стоявшим перед Покровским как историком-публицистом.

Самым простым, правильным и вместе с тем для данного круга вопросов единственно возможным подходом к рассмотрению взглядов Покровского на историю внешней политики царской России XIX в. является рассмотрение их в порядке их зарождения и появления в развернутом виде в печати.

Тем самым определяется и порядок нашего изложения. Прежде всего мы обратимся к рассмотрению той концепции, которая развита Покровским в ряде очерков, напечатанных в «Истории России в XIX в.», изд. Гранат, которая создавалась в период, непосредственно примыкающий к революции 1905—1907 гг. Работы эти, отличающиеся богатством фактического конкретно-исторического материала, были переизданы в подавляющей своей части в 1923 г. отдельной книгой.[1] Эти работы Покровского должны стать предметом особенно внимательного рассмотрения. Следуя намеченным путем, мы обратимся далее к рассмотрению той концепции Покровского, которая относится ко времени его пребывания в группе «Вперед» и развита им на страницах «Истории России с древнейших времен» и которая, сложившись под прямым влиянием богдановской «социологии», представляет собой определенную схему, втиснутую в общую схему истории России, развитую им в этом произведении.

Тот ряд очерков по истории внешней политики царизма, который Покровский дал в период империалистической войны и который был издан отдельным сборником в 1918 г.,[2] должен быть учтен нами постольку, поскольку очерки эти, отражая эволюцию политических и теоретических взглядов Покровского в период войны, вносят новые

[1] Дипломатия и войны царской России. Изд. Красная Новь, М. 1923.
[2] Внешняя политика. Изд. Денница. 1918 г.

моменты в концепцию, изложенную им в гранатовском издании. Наконец, необходимо рассмотреть особо те отдельные выступления Покровского по интересующему нас вопросу, которые относятся к послеоктябрьской эпохе и разбросаны в различных советских изданиях. Работы Покровского, относящиеся к этому периоду, представляют интерес в двух отношениях: во-первых, на них отражалось влияние нового, открытого революцией богатства дипломатических архивов, которое до того не могло быть известно историку и которое должно было бы оказать влияние на решительную перестройку его взглядов по самым основным вопросам внешней политики; во-вторых, на этих работах мы можем проследить, насколько правильно подошел Покровский к этой задаче и к каким результатам он пришел в этой области. В нашу задачу отнюдь не входит дать исчерпывающий всесторонний анализ всех работ Покровского по истории внешней политики царской России XIX в., дать всестороннюю оценку его работ и определение того места, какое они занимают в историографии. Мы имеем в виду ограничиться рассмотрением основных ошибок Покровского фактического и методологического порядка, которые отразились в его главнейших работах и определили его взгляды по вопросам истории внешней политики России в XIX в.

I. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЦАРСКОЙ РОССИИ В «ИСТОРИИ РОССИИ В XIX ВЕКЕ» [1]

Период наполеоновских войн

В дни заключения Тильзитского мира французский военный агент в Петербурге Савари доносил своему императору о тех трудностях, какие он встречал, стремясь закрепить поворот во внешней политике Александра. Не жалея красок, он рисовал александровскую Россию, как страну, находящуюся в полной экономической и политической зависимости от Англии. Когда Савари составлял свои донесения, он мог надеяться на то, что они будут прочитаны Наполеоном и работа его будет оценена по заслугам. Но Савари не мог, конечно, предвидеть, что его донесения послужат основой для построения сто лет спустя исторической концепции внешней политики России XIX в.

Свою концепцию внешней политики России XIX в., развитую в девятитомной «Истории России в XIX в.», Покровский строил, отправляясь от убийства Павла I.

Событие это как бы заслонило собою в историческом построении Покровского всю внешнюю политику царской России предшествующего периода. Донесения Савари должны были помочь Покровскому

[1] Изд. Гранат. Ссылка на нумерацию страниц в тексте даются по сборнику «Дипломатия и войны царской России», поскольку статьи Покровского, напечатанные в гранатовском издании, вошли в этот сборник. Для статьи «Восточный вопрос», не вошедшей в сборник, нумерация страниц дается по II т. изд. Гранат.

разобраться во всей сложности международной обстановки первых дней александровского царствования. Покровский в эту пору начинал объяснять внешнюю политику России с позиций экономического материализма. Донесения Савари пришлись как нельзя более кстати. Вслед за Савари Покровский выводил внешнюю политику России того времени непосредственно из интересов русской внешней торговли, тесно связанной с Англией и шедшей в основном через Балтику. Покровский рисовал Россию того времени как страну, экономически и политически порабощенную Англией (стр. 3—7). Участие России в войне с Наполеоном Покровский рассматривал как «наем русских штыков на английскую службу» (стр. 8). Внешняя политика России в изображении Покровского — это политика страны, которая не имеет истории, которая является не более, как колонией Англии.

Оборвав у русской внешней политики XIX в. ее исторические корни, которые следует искать не на том коротком хронологическом отрезке, когда шла подготовка к убийству Павла, Покровский выбросил из своей истории все основные вопросы внешней политики, унаследованные Россией александровского царствования от предшествующего времени, разрешение которых продолжало составлять основное содержание той борьбы, какую вела Россия на международной арене, вступая в XIX век. Это были вопросы восточный и польский, а также конъюнктурно связанный с последним вопрос борьбы с революционной Францией.

Известно, что содержание восточной проблемы, возникшей еще в допетровскую эпоху в неразрывной связи с польской проблемой, в течение первых трех четвертей XVIII в. объективно составляла, с одной стороны, борьба России за окончательное укрепление связи с освободившимся от польского и турецкого гнета украинским народом, видевшим в восстановлении этой связи единственный путь своего национального спасения; с другой стороны — борьба России за выход к Черному морю, за свободное плавание на нем под русским флагом. Эту борьбу, встречавшую противодействие со стороны Франции и Австрии, Россия вела еще и в ту пору, когда размеры русской черноморской торговли были ничтожны. Эта борьба привела в качестве первого этапа к Кучук-Кайнарджийской победе,[1] открывшей русским торговым судам свободное плавание в Черном море и в проливах. Не ограничиваясь этим, царская Россия продолжала борьбу. Крымское побережье отторгалось от султана. Ставилась задача утверждения русского могущества на берегах Черного моря, превращения его из турецкого озера в русское. Стремившиеся к национальной независимости, покоренные Турцией народы рассматривались как союзники России в ее продвижении к проливам. Противодействие, испытываемое Россией со стороны Франции, боров-

[1] Мирный договор между Россией и Турцией, заключенный в Кучук-Кайнарджи 10/21 июля 1774 г.

шейся с Англией за укрепление своего влияния в России и за утверждение своего господства в Турции, готово было смениться франко-русской дружбою, подкрепленной сделкой с австрийцами за счет Турции. Греческий проект Екатерины исключал Англию из «сотрудничества» в восточном вопросе и отбрасывал ее в лагерь врагов. Между тем перспективы развития черноморской торговли приобретали реальные очертания: за трехлетие с 1776 г. по 1779 г. ввоз товаров в русские черноморские порты возрос в 4½ раза (с 165 тыс. до 711 тыс. руб.); начинался вывоз из русских портов хлеба, доставлявшегося сначала из польских, а затем из русских поместий. Франция и Австрия добивались вслед за Россией признания за ними права навигации в Черном море. В Версальском кабинете зрел проект четверного австро-франко-русско-испанского союза. Проектируемым союзом Франция жертвовала Турцией в пользу России, отрывая последнюю от антипольского союза с Пруссией и сохраняя независимую Польшу для Франции. Союз этот должен был быть направлен против Англии.[1] Разразившаяся во Франции революция отбросила царскую Россию к антипольскому союзу с Пруссией и привела ее на почве борьбы против успехов революционного оружия Франции к тесному сближению с Англией и, далее, к совместной с Англией борьбе против гегемонии Франции не только в Европе, но и на Ближнем Востоке. Русский помещик охотно шел на закрепление своего традиционного союза с Англией, но в этом союзе уже зрели противоречия, заложенные восточным вопросом еще в прошлом столетии.

Известно, что 11 ноября 1801 г. Россия заключила с Францией конвенцию, по которой французы обязались начать мирные переговоры с Турцией при посредстве России.[2] А во время переговоров о коалиции против Наполеона, которые Новосильцев вел с англичанами в 1804 г., Питт и Гарроуби беспокоились больше всего о том, «нет ли у нас намерения взять что-нибудь у турок».[3]

Польский вопрос составлял вторую задачу, стоявшую перед екатерининской дипломатией. Это была борьба за политическое воссоединение территории Западной Руси, которая в условиях австро-русских и прусско-русских противоречий превращалась, однако, в борьбу за утверждение русского влияния в Польше и, далее, в проблему проводимых по берлинским планам разделов, превративших Царство Польское в ряд русских губерний, а его население в объект национального угнетения. Установившиеся между Россией и Пруссией отношения дружбы не могли погасить заложенных в «польском вопросе» противоречий, а наличие австрийского контрагента продолжало увязывать этот «польский вопрос» с вопросом восточным.

---

[1] Aragon. Le prince Charles Nassau-Siegen d'après sa correspondance originale inédite de 1784—1789, p. 282, Paris, 1893.
[2] С. Соловьев. Император Александр I, 28.
[3] Там же, 67—69.

Третья задача, которую унаследовала александровская политика от екатерининского времени, была задачей борьбы с революцией, которая означала в то же время борьбу с возрастающим могуществом Франции и непосредственно была связана с борьбой за Польшу.

Чтобы правильно объяснить политику русского царизма в первые десятилетия XIX в., необходимо учесть те реальные ее интересы, которые корнями своими уходили в прошлое и которые, связываясь в прошлом в единое целое, продолжали и теперь проявляться в неотрывном один от другого виде.

«Я ломаю себе голову, — говорила Екатерина еще в 1791 г.,— чтобы подвинуть венский и берлинский дворы в дела французские. У меня много предприятий неоконченных, и надобно, чтобы они были заняты и мне не мешали».[1] Что следует разуметь под этими словами о «неоконченных предприятиях»? Это означало, прежде всего, закрепление за Россией Черноморского побережья от Днестра до Кубани, и это достигалось победоносной войной, которую вела тогда Россия с Турцией, и заключением 11 августа 1791 г. Ясского мира.

Нельзя забывать, что, несмотря на колебания в своей внешней политике, Павел продолжал строить планы раздела Турции совместно с Австрией и Францией.[2] Вступая в вооруженную борьбу с наполеоновской Францией, Александр I ополчался не только против носителя разрушительных идей, но и против нового грозного соперника России на Востоке, который, потеряв 50 годами раньше Индию, стремился теперь к утверждению своего господства на Средиземном море и стал тянуться к Египту. Если Наполеон, выступая в качестве защитника поляков, был заинтересован не столько в возрождении польской нации, сколько в создании польской армии, которая ему была нужна как военный форпост на востоке Европы,[3] Александр, поддерживая надежды польских патриотов, преследовал цель, угрозой польского восстания в области прусской Польши, побудить Фридриха-Вильгельма заключить с ним союз против Наполеона.[4]

Стержневым вопросом русской политики после польских разделов становился восточный вопрос. Известно, что именно первые годы XIX в. отмечаются особенно бурным ростом вывоза русского хлеба из черноморских портов. Разумеется, этот вывоз был еще незначителен по сравнению с тем, который продолжал связывать Россию с Англией через Балтику. Но циркулярной депешей от 27 июля 1805 г. Талейран ставил в известность французских дипломатических представителей за границей о той опасности, какую несет с собой русская политика в Турции, направленная на поддержку в ней

[1] Мартенс. Собрание трактатов и конвенций, II, 196.
[2] «Русский архив», I, 103, 1878.
[3] Вандаль. Наполеон и Александр, I, 96.
[4] А. Корнилов. Русская политика в Польше со времен разделов, стр. 17. Птгр., 1915.

мятежей и восстаний: «русские эскадры снуют по оттоманским морям и стараются снабжать все побережье оружием, вербовщиками, деятелями волнений и мятежа».[1]

Еще задолго до Тильзитского мира, в октябре 1806 г., Россия идет на разрыв с Турцией, и генерал Михельсон получает приказ вступить с войсками в Молдавию.[2]

После заключения Тильзитского мира французский посол в Петербурге Коленкур мог убедиться в том, насколько тверда и непреклонна позиция петербургского кабинета в вопросе о разделе Турции. «Этот город (Константинополь), — говорил граф Румянцев Коленкуру во время беседы в первых числах марта 1808 г., — в силу своего положения, в силу нашего положения, в силу наших торговых интересов, ключ которых у Босфора и Дарданелл, должен принадлежать нам, как и обширная территория, заключающая эти пункты».[3]

По Покровскому, Наполеон впервые открыл глаза Александру, когда в феврале 1802 г. он писал ему о том, что реальные интересы России требуют направить ее хлебную торговлю через Черное и Средиземное моря и что Марсель и другие французские порты примут деятельное участие в торговых сношениях. «Александр, — замечает Покровский, — повидимому, был очень заинтересован этим проектом» (стр. 5). Повидимому, Александр скоро об этом забыл и только в период Тильзита он снова, по Покровскому, проявил известный интерес к обещаниям Наполеона уступить России «кусок Турции» и эвакуировать Польшу (стр. 26—27). В главе, посвященной «Восточной политике Николая I», Покровский, возвращаясь к этой теме, дает поведению Александра следующее объяснение: Наполеон смотрел на Александра, «как на большого ребенка, которому нужно было дать какую-нибудь игрушку, чтобы он не мешал взрослым. Одна игрушка скоро нашлась — то была Финляндия»; в качестве другой Наполеон выбрал Турцию; у союзника Наполеона был «пунктик»; он «с радостью ухватился» за подсунутую ему «игрушку»: перед ним «мелькнула надежда с честью отделаться от бесславной памяти двух первых коалиций». «И Константинополь на целых полтора года не сходит с поля зрения императора Александра».

Эта «игрушечная» теория восточного вопроса, акцентирующая природную глупость и кретинизм русской дипломатии, ничего общего не имеет с марксизмом. «В политике Екатерины, — писал Энгельс в 1890 г., — уже отчетливо намечены все существенные черты современной политики России... За Аустерлицем последовали прусско-русский союз, Иена, Эйлау, Фридланд и Тильзитский мир 1807 г.... Побитая в двух коалициях, она [Россия] приобрела новые области

---

[1] Сборн. Русск. истор. общества, стр. 82. 103—104.

[2] С. Горяинов. Босфор и Дарданеллы, 8. СПб., 1907.

[3] В. кн. Николай Михайлович. Дипломатические сношения России и Франции, 1808—1812, I, 199—200. СПб., 1905.

за счет своих вчерашних союзников и заключила союз с Наполеоном для раздела мира: Наполеону — запад, Александру — восток... Финляндия была только прелюдией. Целью Александра, как всегда, оставался все тот же Царьград».[1]

То же имел в виду Маркс, когда он говорил о «традиционной политике России», продиктованной «ее историческим прошлым, ее географическими условиями и необходимостью иметь открытые гавани в Архипелаге и Балтийском море».[2]

Если, по Покровскому, Россия как колония Англии ведет английскую внешнюю политику, а русская дипломатия под руководством Александра занимается детскими забавами, — разумеется, не приходится искать правильного отражения сложившейся в изучаемую эпоху расстановки сил на международной арене. Приходится констатировать, что анализ международной конъюнктуры отсутствует у Покровского вовсе, что мотивы участвующих в международной борьбе сил не вскрываются. Действия Пруссии и Австрии носят эпизодический характер. Положение германских государств не освещается. Италии и Швеции почти не заметно. Голландии нет и в помине. Испания представлена случайно взбунтовавшимися «мужиками» (стр. 25). Утверждается, что «союз с Австрией был традицией для русской дипломатии еще с первой половины XVIII в.» (стр. 6), хотя известно, что традиция эта с начала царствования Екатерины II была нарушена системой «северного аккорда» и возобновлена только в 1787 г.

Континентальная блокада, которая, несомненно, могла форсировать капиталистическое развитие ряда стран, но которой не могла выдержать ни Россия, ни Пруссия, — по Покровскому, «опиралась на вполне реальные потребности континентального капитализма» (стр. 31).

Обращает на себя внимание ход мыслей Покровского в связи с блокадой; ход мыслей этот интересен не своею логичностью, но своей целеустремленностью: «переломить» введением трианонского тарифа «экономическое развитие России было безумием»; попытки Наполеона эксплоатировать русское сырье были безрезультатны; в то же время вопрос о континентальной блокаде был «вопросом жизни или смерти для империи Наполеона»; «отказ России от блокады должен был заставить Наполеона воевать, хотел он этого или нет» (стр. 33—34). Отсюда, повидимому, следует, что «спор о том, кто был виновником войны 1812 года, является совершенно праздным». Но тут же Покровский заявляет, что указ Александра I от 18/XII 1810 г., вводивший новый тариф, «был формальным нарушением Тильзитского договора» (стр. 35). Русская дипломатия является, таким образом, в этот период нарушительницей трактатов. Мало того, она питала «замыслы» в польских делах, и замыслы эти заключались в том, чтобы

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 16, 19.
[2] Там же, IX, 439.

воспрепятствовать возрождению «исторической» Польши, т. е. присоединению к последней непринадлежавших ей литовских и белорусских земель (стр. 37). Все это приводит Покровского к заключению, что Наполеону с войной «надо было спешить, не теряя ни минуты» (стр. 38); все это должно подготовить читателя к выводу, что войны Наполеона были войнами оборонительными, что «виновницей» войны 1812 г. была Россия, что война эта была оборонительной и освободительной для Франции и наступательной для России.

Антиисторический подход Покровского к вопросу о происхождении и значении войны 1812 г. заслуживает специального изучения.[1] Остановимся только на изображении Покровским хода военных действий. И в русской и в западноевропейской исторической литературе кампания 1812 г. давно уже всесторонне освещена. Известны высказывания по этому вопросу основоположников марксизма, самого Наполеона и такого специалиста военного дела, как Клаузевиц. Фактическая сторона дела во многом ясна. Никто не сомневается, например, в том, что у русских план отступления был составлен Барклаем задолго до начала войны 1812 г.,[2] что на Бородинских позициях русское командование решило дать французам генеральное сражение, что, заняв их, французы вынуждены были потом их оставить, отойдя за реку Колочу. Не вызывает сомнений тот факт, что командование русской армией принадлежало Кутузову, что сопротивление, которое встретила наступающая французская армия, было оказано ей русскими солдатами и что проявленные ими упорство и храбрость изумили Наполеона. Можно считать установленным также и то, что больше всего пострадала от трудностей похода наполеоновская армия, растянувшая свою коммуникационную линию, лишенная в чужой стране ресурсов для пополнения своей численности, зараженная мародерством, и что в результате кампании погибла именно французская армия. Недаром Энгельс говорил о том, что слабая «в наступлении» Россия была сильна «и почти неприступна в обороне».[3]

Покровский по поводу войны 1812 г. рассказал о том, чего по существу не было. Вот как он изображает события.

Обороняющаяся армия Наполеона наступает на Россию. Русская армия, кое-как руководимая Барклаем, начинает быстро (еще с момента постройки Динабургской крепости, т. е. за два года до наступления наполеоновской армии) разлагаться (стр. 47) и предаваться мародерству и грабежам. Никакого плана ведения войны у русского командования не было. Даже план прусского генерала Фуля — и тот был испорчен русскими. Никаких элементов отступательной тактики у русских не было. В первую половину кампании был отчасти хаос,

[1] См. ст. В. И. Пичета «Покровский о войне 1812 г.» в сб. «Против исторической концепции Покровского» I, 276—302. М. — Л., 1939.

[2] Богданович. История Отечественной войны 1812 г., стр. 91.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 9.

отчасти беспорядочное бегство. «С назначением Кутузова... армия лишилась всякого центрального руководства» (стр. 54). С этих пор, повидимому, все пошло кувырком. Бородино — случайный эпизод, который едва не стоил русским поражения и который, как и все неудачи французов, должен быть, по мнению Покровского, объяснен не политическими, не стратегическими и на этот раз даже не экономическими моментами, а метеорологическими. Население Москвы, в полном соответствии с теоретическими установками Покровского, настраивается почти пораженчески и не скрывает своего резко отрицательного отношения к раненым и убитым солдатам русской армии (стр. 56). При таких условиях московская полиция вынуждена сжечь Москву. Создавшийся в городе хаос действует деморализующе даже на наполеоновские войска, которые начинают следовать примеру русских и предаваться мародерству. Последнее обстоятельство больно бьет русское население по карману, благодаря чему в русской буржуазно-дворянской историографии зарождается легенда о пробуждающемся в массах патриотизме (стр. 56). «Тем временем Наполеон должен был ...убедиться», что Москва представляла собою город, где «производительные классы населения составляли ничтожное меньшинство», и что, коль скоро помещики, составлявшие главный контингент «потребителей», покинули город, последний не может быть обеспечен пищевыми продуктами (стр. 58).

Основываясь на правильном экономическом анализе создавшегося положения, Наполеон разрабатывает новый блестящий план кампании, благодаря которому он «бил русские силы по частям» (стр. 59). «По странной случайности обе армии (и французская и русская, находившаяся, как мы видели, в безнадежно хаотическом состоянии) пришли одновременно в движение» (стр. 59). Дальше снова ряд не менее странных «случайностей»: случайное поражение французов при р. Черешне, случайное «столкновение» при Малоярославце, которое можно не считать сражением потому, что Наполеон решил сражения «не принимать». Дальше упрощать картину Покровскому не приходится потому, что сама «война упростилась до последней степени»: почему-то теперь «французы бежали, как только хватало сил» (стр. 60). Русские в полном беспорядке бегут за ними. В этом своеобразном кроссе Наполеон вышел победителем — он первый прибежал к границе. Деморализованный Кутузов, растеряв по дороге армию, прибежал последним. Сохранив «кадры» своей армии, Наполеон победоносно вступил на территорию сопредельных с Россией владений. На Кутузова легла вся тяжесть ответственности за последующие кровопролитные войны (стр. 61).

Таково изображение войны 1812 г., данное Покровским в I томе гранатовского издания. Концепция эта только на первый взгляд кажется «новой» и «оригинальной». Корни ее можно найти не только во французской дипломатической переписке наполеоновского периода, но и во французской воинствующей публицистике того времени. Тео-

рия английского происхождения войны объясняла в ту пору, в частности даже пожар Москвы, полученной из Лондона соответствующей директивой.[1] Элементы той же концепции можно найти и в германской юнкерской историографии. В частности, мысль о том, что никакого плана отступательной войны у русского командования не было, развивал немецкий военный писатель бар. Вольцоген,[2] а данная Покровским трактовка войны 1812 г. как поражения России во многом совпадает со взглядами, высказанными по этому поводу известным своим шовинизмом и своей антирусской агрессивной политической ориентацией проф. Шиманом, на исследования которого не раз полагался Покровский.[3]

Священный союз

Переходим к истории Священного союза, основание которому было положено на Венском конгрессе. На этом конгрессе происходил, по словам Гентца, «дележ между победителями имущества побежденного».[4] Но это был не только дележ добычи, но и борьба между победителями, дипломатическая борьба, в которую чуть не с первых же дней вступил также и побежденный. Напомним те основные линии, по которым шла эта борьба. Англия стремится к расширению своих колониальных владений за счет Испании, Португалии и Нидерландов; она не может примириться ни с ростом морского могущества Франции, ни с успехами русской политики на Востоке. Поэтому она готова поддержать Нидерланды против Франции и усилить Пруссию польскими территориями против оттесняемой за Вислу России. Поэтому она мирится с усилением влияния Австрии в Италии в противовес Франции. Австрия стремится к тому, чтобы вытеснить французское влияние из Италии, она хочет противопоставить Франции Нидерланды и федеративную Германию. Австрия охраняет от притязаний России Дунай; она боится возможного воссоединения Польши. В то же время она пытается удержать в должных границах рост могущества Пруссии и прежде всего оградить от прусских притязаний Саксонию. Она готова вместе с тем согласиться на некоторое усиление Пруссии в бассейне Рейна, чтобы приковать там пруссаков к Франции. В этой же связи она ставит ставку на Баварию и поддерживает партикуляризм отдельных германских владений. Пруссия начинает борьбу за гегемонию в Германии. Она борется прежде всего за Рейн и Саксонию. Готовая поступиться своими интересами в Польше, она ориентируется на земельные приращения в Вестфалии и Померании. Преследуя цели

[1] Theodor Schimann. Kaiser Alexander I und die Ergebnisse seiner Lebensarbeit, S. 82—84. Berlin, 1904.

[2] L. Fr. Wollzogen. Memoiren des Königl. Preuss. Generals der Infanterie. Erste Beilage V—XVI.

[3] T. Schimann, op. cit.

[4] Mémoires de Metternich, II, 474.

вытеснения австрийского влияния в Германии, она противится осуществлению планов Баварии.

Наконец, Россия держит курс на воссоединение под своею эгидою Польши и поддерживает в этой связи территориальные и политические притязания Пруссии против Австрии. Создание направленной против Австрии прусской угрозы для России было особенно важно потому, что с австрийскими притязаниями ей приходилось считаться на Дунае, а Дунай ей был нужен для ее политики на Востоке. В восточном вопросе, стержневом вопросе ее политики, ей приходилось сталкиваться прежде всего с интересами Англии и в этой же связи отнюдь не пренебрегать Францией и во всяком случае использовать англо-французские противоречия.

Что касается самой побежденной Франции, — перед ней прежде всего стояла задача выйти из изоляции, ускорив процесс распада охватившего ее кольца политической блокады, процесс, который начался с первых же дней конгресса. В этом плане она ориентируется на поддержку второстепенных государств. Она поддерживает Саксонию против Пруссии, Баварию против Австрии и оказывает сопротивление России в польских делах. Поддерживая в Германии Австрию против Пруссии, она борется с австрийским влиянием в Италии и Швейцарии. Выжидая первых крупных разногласий между бывшими союзниками, она держит курс на сближение с Англией.

Уже одного перечня отмеченных выше моментов, получивших неплохое освещение в западноевропейской буржуазной историографии, видно, насколько сложен был тот клубок противоречий, какой создался на Венском конгрессе, насколько сложны и многообразны были и те пути, какими эти противоречия должны были разрешаться. Не приходится пояснять, что без анализа реальных интересов участников конгресса, без анализа вытекавших из них противоречий нельзя понять всего последующего периода, известного под именем эпохи Священного союза. Анализ этого вопроса, данный Покровским, нельзя признать ни обстоятельным, ни объективным. «Расхождение во внешней политике было так велико, что державы-союзницы чуть ли не на другой же день после изгнания Бонапарта из Франции едва не начали между собой войны» (стр. 73). Вот и весь анализ Покровского. Это положение, высказанное в голословной и вульгаризированной форме, Покровский, однако, скоро снимает. Чтобы предотвратить войну, нужно было, очевидно, найти почву для единения: «Связующее начало было, однако же, найдено, — пишет Покровский, — и оно оказалось достаточно прочным, чтобы превратить коалицию в некоторое подобие постоянного учреждения, известного под именем «Священного союза». «Оно было найдено, — поясняет дальше Покровский, — не в области международных отношений... его основой были общие интересы союзных правительств в их внутренней политике», т. е. интересы борьбы с революцией (стр. 74).

То значение, какое в планах вдохновителя и организатора Свя-

щенного союза могла и должна была иметь идея борьбы с революцией, не подлежит никакому сомнению. Но это, во-первых, не освобождает историка от необходимости изучения международной обстановки эпохи. А, во-вторых, известно также и то, что Священный союз выдвигал в качестве руководящего начала международной политики также принцип политического равновесия.[1] Это означало, что для Александра, только что сокрушившего мощь наполеоновской Франции и достигшего положения гегемона, Священный союз являлся также орудием сохранения выгодной для него расстановки сил в Европе. Нельзя также пройти и мимо того обстоятельства, что, конституируя Священный союз как союз «христианских» государей, Александр стремился исключить Турцию из концерта европейских держав, открывая вместе с тем для себя возможность вмешательства в ее дела.[2] Отсюда следует, что для Александра Священный союз имел вполне определенный политический смысл и в плане разрешения восточного вопроса. Этим же определялась и та позиция, какую по отношению к Священному союзу должна была занять Англия. Какова же история Союза в изображении Покровского? Так как изложение идет в плане внешней политики, ему приходится касаться международной конъюнктуры того времени и свойственных ей противоречий. Из всего многообразия фактов он выбрал два: 1) стремление Англии к овладению американскими колониями Испании и 2) стремление России к воссоединению Польши.

Даже эти два факта, случайно выхваченные из всего многообразия исторической действительности, говорят о противоречиях, заложенных в системе Священного союза, противоречиях, которые с неизбежностью вели к его разложению: Англия отказывается возвратить американские колонии их старому «законному» владельцу и даже мирится с торжеством в них республиканских принципов; сам основоположник Священного союза Александр I действует в польском вопросе в духе, противоречащем принципам дипломатической реставрации. Какие выводы делает отсюда Покровский? По существу — никаких. О первом факте он в дальнейшем изложении забывает. Вопросом же о Польше, в частности описанием того трагикомического положения, в какое попал саксонский король, Покровский пользуется для характеристики «вотчинной» психологии участников Священного союза. Пересказав содержание деклараций Аахенского, Троппаусского и Лайбахского конгрессов и позабыв о Веронском, Покровский приходит к выводу о том, что контрреволюционная организация Священного союза была уничтожена только революцией 1848 г. (стр. 83). «Подобие постоянного учреждения» благополучно и мирно просуществово-

[1] Градовский. Государственное право важнейших европейских держав. СПб., 1886, стр. 522—523. Даневский. Системы политического равновесия и легитимизма. СПб., 1882. стр. 150—158.

[2] Жигарев. Русская политика в восточном вопросе, I. 289—290. СПб., 1896.

вало, таким образом, по Покровскому, с 1815 по 1848 г. Правда, в одной из своих следующих статей, напечатанной в том же издании, Покровский вносит в нарисованную им картину поправку, говоря, что «июльская революция и провозглашение бельгийской независимости были наглядным подтверждением того факта, что Священный союз перестал существовать» (стр. 110). Приходится признать, что подлинно научной марксистской истории Священного союза Покровский не дал. Борьбы тех противоречий, которые существовали в недрах Священного союза и которые с неизбежностью вытекали из сложившегося в 1815 г. на международной арене соотношения сил, он не показал. Не сказать о том, что после Аахенского конгресса на почве англо-русских и австро-русских противоречий завязывается русско-французская дружба, что на Лайбахском конгрессе Франция вступает в лоно Священного союза, «позабыть» о том, что решения Троппаусского конгресса ни Англией, ни Францией подписаны не были, пройти мимо роста революционного движения в Германии в период 1818—1820 гг., вызывавшего активизацию австрийской политики и приводившего к австро-прусскому сближению и мобилизации русской армии, не учесть международного значения Неаполитанской революции, пройти мимо англо-русской борьбы за влияние во Франции и, наконец, позабыть самое главное — англо-русскую борьбу в греческом вопросе — значит представить Европу 1816—1830 гг. в образе тихого семейства, значит безнадежно вульгаризировать и исказить действительную историю эпохи Священного союза.

То интересное, что можно найти в рассматриваемой работе Покровского, может относиться единственно к описанию политической психологии деятелей Священного союза и прежде всего Александра. Но и это допущение приходится принимать с большой оговоркой. Во-первых, нельзя дать правильной характеристики Александра как главы Священного союза, не выяснив той роли, какая в делах Союза в значительной степени принадлежала и Меттерниху. Покровский не только замалчивает на всем протяжении своего изложения активную роль Меттерниха, но даже выгораживает его, ссылаясь на брошенную им однажды фразу о том, что Акт Священного союза был «наиболее звучным и пустым документом эпохи конгрессов» (стр. 81). Не учитывая того, что фразеология Меттерниха была лишь политической маскировкой, не понимая того, что смысл Священного союза нужно искать не в юридической фикции и мистической фразеологии акта, а в тех решениях и договорах, которые принимались и подписывались державами в последующие годы, Покровский дает положительную оценку политической проницательности Меттерниха. Меттерниха, одного из столпов феодальной реакции, Покровский превращает в политического мудреца, искажая вместе с тем в своей характеристике действительную природу шедшего с ним в одном дышле Александра I.

Во-вторых, нельзя ничего понять в политической линии Александра, если вместе с Покровским рассматривать его политику только

как борьбу «за восстановление старого порядка», как борьбу за принципы легитимизма (стр. 83). Известно, что в условиях водворившегося мира, когда все державы уже сократили свои воинские контингенты, Александр продолжал держать свою армию на военном положении. Известно, что в 1816 г. царь отправляет нового посла (Строганова) в Турцию с суровыми требованиями; что бывший руководитель Сербского восстания Кара-Георгий тогда же (1816—1817 гг.) посещает Петербург и оттуда отправляется снова в Турцию для организации повторного восстания; что на русской территории под покровительством русских властей в ту пору (1814—1818 гг.) развивает свою деятельность греческая повстанческая организация. К этому времени относятся ламентации Меттерниха по поводу антиавстрийской агитации, которую ведут русские агенты в Италии. В это же время правители Бадена, Вюртемберга и Саксен-Веймара под личным влиянием Александра собираются ввести в своих владениях конституционный образ правления. Меттерниху удалось удержать царя от войны с Турцией. Но в августе 1825 г. всякие переговоры с Веной и Лондоном по ближневосточным делам были прекращены, и война с Турцией была решена.

Энгельс рассматривал Священный союз как «расширение русско-австро-прусского союза до степени заговора всех европейских государей против их народов под председательством русского царя».[1] Но Энгельс считал в то же время, что в этой связи для царской дипломатии: «все дело заключалось лишь в том, чтобы использовать достигнутую в Европе гегемонию для дальнейшего продвижения к Царьграду».[2] Энгельс напоминал, что царская дипломатия в ту пору, пуская в ход «рычаги» греческого, румынского и сербского национального движения, одновременно сеяла внутренние раздоры у своих легитимных союзников, поддерживая движение карбонариев и другие инсуррекции на Западе. «Все это, — говорит Энгельс, — нисколько не мешало просвещенному царю Александру на конгрессах в Аахене, Троппау, Лайбахе, Вероне призывать своих легитимных коллег к самым энергичным действиям против их мятежных подданных и для подавления революции посылать в 1821 г. австрийцев в Италию, а французов в 1823 г. — в Испанию; для виду он осуждал даже восстание греков, разжигая в то же время это восстание... монархам и реакционерам царизм проповедывал легитимность, либеральным филистерам — освобождение народов и просвещение».[3]

Следуя за английским публицистом Уркартом, противопоставлявшим реакционной России «либеральную» Австрию, исключив Меттерниха из Священного союза и вступив на путь психологического анализа, не вооруженный ни фактами, ни диалектическим методом, Покровский дал англо-австрийскую трактовку «главы» Священного союза

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 21—22.
[2] Там же.
[3] Там же, 23.

и в своем психологическом анализе не мог выйти за пределы вульгарного психологизма.

Восточная политика Николая I

Мы видели, что по концепции, развитой Покровским на страницах «История России в XIX в.», восточный вопрос был подброшен Александру Наполеоном в качестве игрушки в Тильзите и что, поиграв с нею до разрыва континентальной блокады, дитя потом позабыло о ней и занималось до конца своего царствования вопросами укрепления принципов легитимизма в Европе. Мало того, после Бухарестского мира (16 мая 1812 г.) Александр I, по словам Покровского, всякие мысли о войне с Турцией «всегда старался поскорее отогнать от себя» (т. II, стр. 587). Это понятно: всякие разговоры о стремлении русских царей к Константинополю и проливам, стремлении, проявляющемся «немедленно вслед за превращением Черного моря в русское озеро», являются, по словам Покровского, повторением «старомосковских легенд о православном царе всего христианства»; большие проблемы легитимитета, к разрешению которых призывался Александр, не имели, по мнению Покровского, никакой внутренней связи с «отдельными дипломатическими районами», «где преследовались некоторые специальные цели» (стр. 583). Это тем более должно быть понятно, если учесть то обстоятельство, что все те «обширные льготы для русской торговли на турецком востоке», которые были выговорены в результате ряда предшествующих войн с Турцией, по толкованию Покровского, оказывались нужными только для греческой буржуазии: «русские торговые суда, — говорит Покровский, — составляли здесь совершенно ничтожную величину»; «в девяти случаях на десять русский флаг прикрывал грека... под покровом русского флага развивалась греческая буржуазия» (стр. 588).

Так как восточный вопрос по существу оказывался, таким образом, вопросом греческим и в разрешении его были заинтересованы преимущественно греки и так как Николай I с первых дней своего царствования занимался так же, как и его предшественник, только проблемами легитимизма, восточным делам, естественно, не было места в программе внешней политики николаевского царствования. Вопрос этот, правда, возник, но, как объясняет Покровский, по совершенно независящим от царского правительства обстоятельствам. Тот же греческий вопрос, который был так ненавистен царю, потому что «традиции Священного союза не допускали и мысли об открытом союзе с мятежниками» (стр. 591), привлекает внимание Англии. Английская дипломатия, чтобы использовать в своих целях военную мощь России, вовлекает последнюю в военное вмешательство в греко-турецкую распрю (стр. 592), последствием чего оказывается Наваринская битва 8/20 октября 1827 г. Под впечатлением этого батального зрелища в Николае совершается психологический переворот: «Жажда новых территориальных приобретений, — говорит Покровский, — заставила молчать на

время его легитимизм. Несомненно, что с этого именно времени в его мозгу воскресает идея раздела Турции» (стр. 593).

Трудно представить, как могла зародиться у историка мысль объяснить происхождение восточного вопроса Наваринской битвой. У нас нет никаких оснований думать, что Николай лгал, когда вскоре после восшествия на престол, обращаясь к французскому посланнику графу Сен-При, говорил: «Брат мой завещал мне крайне важные дела и самое важное из всех дел восточное дело». [1]

Аккерманскую конвенцию (26 сентября 1826 г.), подтверждавшую постановления Бухарестского трактата и предоставлявшую Молдавии, Валахии и Сербии новые льготы, Николай заключал во всяком случае до Наваринской битвы.

Нарушение турками Аккерманской конвенции приводило к русско-турецкой войне, которую Николай начинал, имея на руках готовый текст будущего мирного договора.

Русский посол в Лондоне кн. Ливен не задавался целью сбить с толку своего министра иностранных дел Нессельроде, когда в июне 1829 г. по поводу условий будущего русско-турецкого мирного договора писал: «Что касается гарантии свободного прохода через Босфор, то это является одной из необходимых для нас вещей, так как свободная навигация в Босфоре и благоденствие части владений императора связаны между собою неразрывной цепью. Мы не можем допустить, чтобы каприз какого-нибудь визиря или любой фаворитки султана задерживал, когда им захочется, движение торговли, все развитие общественной и частной промышленности в громадном количестве наших провинций...» [2]

Пальмерстон был слишком изощренным и крупным политиком, чтобы ошибаться в своем ответе австрийскому дипломату гр. Фикельмонту, уверявшему в 1844 г. своего собеседника в том, что русское правительство не может стремиться к распространению своих владений на юге потому, что большинство русских дворян и русская торговая буржуазия живут на севере: «Утверждать, что Россия не думает о распространении к югу, — записывал Пальмерстон содержание этого разговора в своем дневнике, — значит отрицать уроки истории». [3]

Мы говорили уже о том, какое значение придавал Энгельс этим «урокам истории» применительно к александровскому царствованию. Переходя в своем историческом обзоре внешней политики русского царизма к политике Николая I и устанавливая ее преемственную связь с александровской, Энгельс замечал: «Теперь стали действовать более решительно, и война с Турцией была предпринята, не вызвав никакого вмешательства со стороны Европы». [4]

[1] См. С. Татищев. Внешняя политика Николая I, 137.
[2] «Portfolio» во франц. издании, т. I, № 4, pp. 15—24.
[3] С. Татищев. Ук. соч., 557—558.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 24.

Концепция Покровского о происхождении восточного вопроса оказывается построенной не только наперекор «старой московской легенде», которую ему так хотелось разрушить, но и наперекор всем «урокам истории». Мы видели, что народнический публицист Кривенко решительно отрицал «жизненные интересы» царской России на Ближнем Востоке. Нужно думать, что здесь на Покровском сказалось и влияние исторической публицистики Уркарта, основная политическая идея которой — о необходимости «отбросить московитов в их родные снега» и превратить Россию в хозяйственный придаток Англии — требовала соответствующего исторического обоснования и, следовательно, не могла мириться с признанием наличия у царской России реальных интересов на Ближнем Востоке.

Ненаучная и антимарксистская концепция Покровского граничит с прямой анекдотичностью. Внимательно следя за дальнейшим развитием мысли Покровского, мы убеждаемся, как из ложных исходных предпосылок вырастают новые и новые ошибки.

Мы оставили Николая I в тот момент, когда он, по мнению Покровского, только что оказался охваченным «жаждой» новых завоеваний. Он бросается на Турцию. Война заканчивается Адрианопольским миром, который, по Покровскому, «не создавал ничего нового» (стр. 595). Европейские державы настояли на том, чтобы в адрианопольский трактат был включен пункт, касающийся докучливого греческого вопроса. Николай против воли снова втягивается в греческие дела. Вместе с Меттернихом он проводит на новый греческий престол кандидатуру несовершеннолетнего баварского принца Оттона. Но баварцы были «вовсе не склонны жертвовать популярностью Оттона предрассудкам императора Николая» (стр. 598).

Дело Николая в Греции проиграно. А так как каких-либо внешнеполитических установок у Николая, как мы видели, не было, а была только «жажда» завоеваний, то «отсюда, — рассуждает Покровский, — был один шаг до мысли, что нашими естественными союзниками на Балканском полуострове... являются сами турки». «Около этой идеи, — говорит Покровский, — и вертится восточная политика императора Николая во втором фазисе ее развития» (стр. 598). Колебания Николая, связанные с вопросом о том, итти ли в союзе с Турцией или с Грецией, скоро кончились. Завязывается русско-турецкая дружба (стр. 599), которая укрепляется во время борьбы султана со своим египетским вассалом. Так как восставший против Султана Мехмет-Али был мятежник, так как Николай красноречиво и резко порицал действия этого мятежника, определяя их как «последствие возмутительного духа», и так как «России предстояло бороться в лице египетского паши не более, не менее как с всемирной революцией», — «это вполне объясняло, — заключает Покровский, — энергические меры, пущенные в ход: черноморский флот вошел в Босфор...» (стр. 600).

Как повествует далее Покровский, в инструкции начальнику русского десантного отряда между строк предписывалось занять Кон-

стантинополь. Воспитанный на теории легитимизма, генерал оказывается не в состоянии понять инструкцию или не находит в себе решимости привести ее в исполнение (стр. 601).

Предприятие проваливается. «Оставалось прикрыть свою неудачу пышными фразами» и «барабанным боем». В этом заключалось назначение Ункиар-Искелесского трактата, лишенного, по разъяснению Покровского, всякого реального содержания. Осознав свои ошибки, Николай I вступает в союз с Англией (стр. 602). «Он становится союзником Пальмерстона». Последний мог выступить теперь против Франции. «Россия, — заключает свое изложение Покровский, — поступала на службу Англии не менее добросовестно, чем это было в дни первой коалиции против Наполеона» (стр. 605).

Невероятно, но Покровский утверждает, что это факт: вместо англо-русской борьбы за влияние в Греции шла какая-то русско-баварская борьба; вместо вел. кн. Константина противником русской активной внешней политики на Востоке выступал сам проводивший ее Николай; соглашение с Турцией заключалось по соображениям идеологического порядка; Турция из объекта захватнических стремлений превращалась в объект идеальной любви; царским генералам предписывалось захватить этот объект военною силою; даваемая генералам секретная инструкция для действий составлялась на никому не понятном эзоповском языке; Адрианопольский трактат, который, как известно, широко открывал двери русской торговле и укреплял русские позиции на Балканах, предоставляя автономию Сербии, а также Молдавии и Валахии, не давал ничего «существенно нового»; Ункиар-Искелесский трактат, который являлся кульминационным пунктом успехов русской политики в ближневосточном вопросе, который, по словам Гизо,[1] превращал Черное море в «русское озеро» с султаном в роли русского сторожа при проливах, означал неудачу и даже полный провал николаевской политики. И, наконец, легендарный англо-русский союз, которого, как до сих пор в том все были уверены, со времени противонаполеоновских коалиций в течение всего XIX в. никогда не было.

Верно то, что Ункиар-Искелесский трактат вызвал бурю протестов со стороны Англии и Франции. Еще во время русско-турецкой войны 1828/29 г., по мере успехов русского оружия, «общественное мнение» Англии становилось все более враждебным России. Ункиар-Искелесский трактат, создававший для России командное положение в проливах, усилил начавшееся ранее англо-французское сближение и привел к сильному дипломатическому англо-австро-французскому нажиму на Россию. Он форсировал ту длительную борьбу между Россией и заинтересованными в ближневосточных делах западноевропейскими державами, которая шла в течение 30-х, 40-х и первой половины 50-х гг. вплоть до Крымской войны. Эта затяжная

[1] Guizot. Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, IV, 49.

дипломатическая борьба приводила к постепенному вытеснению России с занятых ею на Ближнем Востоке позиций. Отступая, русская дипломатия искала союзников, вступала в конъюнктурные соглашения, делала попытки разбить фронт своих противников. В Мюнхенгреце (конвенция 6 и 7 сентября 1833 г.) она нашла себе временную союзницу в западных и восточных делах не только в лице Пруссии, но и в лице социально-политически родственной феодальной автократической Австрии. Ход событий и на Востоке и на Западе приводил к постепенному назреванию заложенных в этом союзе противоречий и расшатывал основы союза. Того же нельзя сказать об отношениях России и Англии, если учесть всю совокупность с каждым днем углублявшихся англо-русских противоречий и на Ближнем и на Среднем Востоке. Англо-французское соперничество в африканских и ближневосточных делах открывало перед Россией перспективу раскола англо-французского блока. В этом плане была предпринята в 1839 г. поездка Бруннова в Лондон. Россия шла на конъюнктурные соглашения с Англией, поступаясь занятыми ею ранее позициями на Ближнем Востоке.

Если Лондонская конвенция от 3/15 июля 1840 г. об оказании совместной помощи Турции могла еще рассматриваться русской дипломатией как некоторый дипломатический успех, так как она была заключена помимо Франции и вопреки ей, заключенная 1/13 июля 1841 г. в том же Лондоне конвенция о проливах, подписанная всеми пятью державами, означала для России решительную потерю ункиар-искелесских достижений. Поездка Николая I в Лондон в 1844 г. была последней попыткою России договориться с Англией о ближневосточных делах. Эта попытка была основана на переоценке Николаем роли и значения его консервативных друзей в системе английской политической жизни. Попытка эта осталась безрезультатной. Единственно о чем на словах договорились тогда — это о том, что в случае падения Оттоманской империи Россия и Англия не предпримут ничего иначе, как по взаимному соглашению. Англо-русская борьба продолжалась. Она продолжалась в условиях роста политического, экономического и военно-морского могущества Англии, в условиях обнаруживавшейся неспособности крепостнической России удержаться на ранее занятых ею позициях. Зрели предпосылки Крымской войны. События 1848—1849 гг. ускорили это созревание.

Не установив исторической преемственности между внешней политикой Николая I и внешней политикой предшествующего царствования, тем самым не дав развернутого анализа внешней политики Николая I, — Покровский шел к неправильному изображению той роли, какую, начиная с екатерининского времени в течение всей первой половины XIX в., играла царская Россия как жандарм Европы. Маркс и Энгельс, как известно, неоднократно подчеркивали то контрреволюционное значение, какое приобретало стремление русского царизма установить свою гегемонию в Западной

Европе. В этой связи, в частности, расценивали они и значение польского восстания 1830—1831 г.: «В 1830 г., когда император Николай и прусский король готовы были осуществить свой план с тем, чтобы нападением на Францию восстановить легитимную монархию — в это время польская революция... заградила им путь».[1] В этой же связи вырисовывается реакционное значение и тех конвенций, которые Николай I заключал со своими феодальными соседями в 1833 г. Не дав анализа мотивов европейской политики Николая I, ограничившись анализом мотивов его политики в турецко-египетском вопросе и изобразив на примере борьбы царя с восставшим правителем Египта восточную политику Николая, как борьбу с «всемирной революцией». Покровский дал на страницах своей истории искаженное изображение роли царизма как международного жандарма.

В концепции о восточной политике Николая I, Покровский во II томе «Истории России в XIX в.» внес столько вымысла, что при переиздании своих старых работ по внешней политике, предпринятом в 1923 г., сам автор не нашел возможным включить эту статью в новый сборник. Но влияние этих ошибок сказалось на той трактовке, какую дал Покровский в рассматриваемую пору и событиям 1848 г., и событиям Крымской войны.

1848—1855 гг.

Проблему «жандарма Европы» Покровский связывал только с событиями 1848—1849 гг. Такая суженная постановка вопроса уже таила в себе опасность того, что на страницах истории появится фигура человека, «не помнящего родства». Подходя к изучению событий 1848—1849 гг., Покровский отправляется от положения о том, что «основной задачей русской дипломатии» издавна являлась «борьба с революционными идеями» (стр. 106). Так как Николай I «завоевал себе корону в личной схватке, грудь с грудью, с духом времени» и так как он «все время чувствовал себя на вулкане», вопрос о борьбе с революцией был для него «вопросом самосохранения» (стр. 107—108). Это альфа и омега всей его внешней политики. Легитимист по убеждению, всю вторую половину своего царствования Николай посвятил «попыткам воскресить Шомонский договор 1814 г.», т. е. союз четырех держав — России, Австрии, Пруссии и Англии против Франции (стр. 110). «Первой мыслью Николая при известии об июльской революции во Франции, — пишет Покровский, — было вооруженное вмешательство» (стр. 109). Прусский король и Меттерних удержали царя-идеолога от этого безрассудного шага. Между тем и Германия и Австрия сами становились для него потенциальным «театром войны с духом времени» (стр. 111). Как легитимист, Николай не мог примириться и с «чересчур либеральным» отношением турец-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Т. XV, стр. 548.

ких властей к революционному движению в Молдавии и Валахии и для установления в них «порядка» посылает оккупационные войска.

Россия противостояла, таким образом, всей Европе с Турцией включительно. Объединенная монолитная Европа (с Турцией включительно) выступала в качестве носительницы «духа времени», т. е. революции. Как легитимисту, Николаю в соответствии с пунктами берлинской конвенции 1833 г. пришлось долго томиться в ожидании приглашения к вмешательству в австрийские дела (стр. 112—113). Ему было тем труднее сдерживать свой порыв, что в рядах венгерских революционеров сражались поляки, бывшие уже ранее «мятежниками» и заслуживавшие законной кары. Однако Николай ждал, так как «покорно шел на поводу у своих союзников» (стр. 109). Легитимистские настроения и «воинственные чувства императора» получили скоро удовлетворение. Встал вопрос о «реставрации германского союза, созданного конгрессом 1815 г.» (стр. 115). Это была в полном смысле слова борьба за принципы легитимизма: Шлезвиг-голштинское дело, т. е. вопрос о проливах Балтийского моря, имело «третьестепенное значение» (стр. 113). В результате мечта о «восстановлении старого порядка во всей его неприкосновенности» становилась действительностью. Царь-идеолог, посвятивший всю свою жизнь борьбе с «духом времени», торжествовал. Но это было временное торжество. Николай I не понимал ни «Европы», ни «духа времени», ни революции. «Революция была для него страшна именно потому, что она была ему совершенно не понятна. И, когда он убедился, что это таинственное чудовище сильнее его,— он умер: больше ему ничего не оставалось» (стр. 108).

В той мистической концепции событий 1848—1849 гг., какую развил Покровский на страницах «Истории России в XIX в.», нет, строго говоря, ни международной обстановки, ни внешней политики России, ни революции. Изображение действительного хода событий, анализ их подменяется характеристикой идеологии Николая I и его психологического habitus. Ни идеологические, ни психологические предпосылки контрреволюционного выступления царизма, разумеется, не могут получить правильного освещения без учета реальной обстановки, в какой они создавались. О том, что Николай I чтил принципы легитимизма и ненавидел революцию, писал еще и Татищев. Известно, что еще в 1830 г. Николай хотел разрыва с июльской монархией и посылал в Берлин Дибича для переговоров о согласованных действиях. Известно и то, что признание правительства Луи Филиппа стоило Николаю, по его собственным словам, «самых тяжких усилий» [1] и что пошел он на это, понукаемый Нессельроде и подталкиваемый прусским королем. Мало того, Николай порывался вмешаться и в бельгийскую революцию, чтобы «положить военною силою предел революции, всем угрожающей». [2] Нужно только иметь в виду,

[1] Мартенс. Собрание трактатов и конвенций, XV.
[2] Там же, VIII.

что и Меттерних находил, что принцип невмешательства в бельгийские дела могут защищать лишь «разбойники, отвергающие полицию, и поджигатели, протестующие против пожарных». Нужно иметь в виду также и то, что Меттерних в эти дела не вмешался, как не вмешался в них и Николай ни в 1830 г., ни даже в 1832 г., когда французы начинали военные действия против Антверпена, а Фридрих Вильгельм двинул против них свои войска в надежде, что Николай поддержит его.

Вспомнив по поводу 1848 года о 1830, Покровский не показал, чем отличалась конкретная ситуация 1848 г. от ситуации, имевшей место за 18 лет до этого. Он не показал этой ситуации ни в аспекте внутренней, ни в аспекте международной политики и, следовательно, не объяснил, почему именно теперь порыв Николая стал действенным и жандарм Европы оказался в силах выполнить свою контрреволюционную миссию. Не придав значения пограничному с Австрией положению Польши, позабыв о том, что рядом с мятежной дворянской Польшей была расположена еще более грозная крестьянская Россия, которая, как еще за 10 лет до этого говорил Бенкендорф, стала превращаться в «пороховой погреб под государством», Покровский не показал реальных оснований для контрреволюционного выступления царизма.

Заставив Николая бросить войска в Молдавию только из ненависти к молдавской революции, Покровский упустил из виду восточную политику Николая, а элиминировав стоявший перед царизмом вопрос борьбы с революцией от вопроса восточного, он пришел ко взглядам, ничего общего не имеющим со взглядами Маркса, который указывал на ту опасность, какую для надвигающейся буржуазно-демократической революции на Западе несли с собою в ту пору успехи ближневосточной политики царизма, как решающего на данном этапе звена в системе европейской контрреволюции. «Если Россия овладеет Турцией, — писал Маркс, — ее силы увеличатся почти вдвое, и она окажется сильнее всей остальной Европы вместе взятой».[1]

Известно, что активное контрреволюционное выступление Николая I в 1848—1849 гг. определилось не непосредственно революцией во Франции, — предложенный России Ламартином в марте 1848 г. союз не был ею отвергнут,[2] — а распространением революционного движения в пограничной Австрии и в дунайских княжествах. Говоря о росте этого движения в Австрии, об угрожающем последней распаде и касаясь распространения революционного движения в Галиции, Николай I писал Паскевичу о том, что он не может допустить одного, — чтобы возродилось «отдельное самостоятельное царство в Галиции под именем польского или славянского...» «Ибо край сей может быть или австрийским или русским, иного не могу допустить

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 386.
[2] Nesselrode. Lettres et papiers du Chamcolier, IX, 95.

никогда во что бы то ни стало».[1] Страх за русскую Польшу побудил Николая сосредоточить на западной границе 420-тысячную армию. Одновременно Николай оккупировал своими войсками дунайские княжества. Совершенно очевидно, что это было сделано не только во имя торжества в мятежных княжествах идеи «порядка», но что это была очередная попытка сделать шаг в направлении к проливам, что это была борьба за потерянные ункиар-искелесские позиции.

Николай помогал австрийскому императору словом и делом не только потому, что ему нужно было погасить опасное для Польши революционное пламя, но и потому, что дружественная Австрия ему была нужна в системе его политики — и восточной и западной. Он поддерживал Австрию против Пруссии не только из любви к старым трактатам, но и потому, что объединение Германии под эгидою усиливающейся Пруссии отнюдь не входило в его расчеты. Возникшее в этом плане Шлезвиг-голштинское дело отнюдь не было «третьестепенным» делом, потому что речь здесь шла о том, в чьих руках будет выход из Балтийского моря, — у слабой ли Дании или относительно могущественной Пруссии. Предпринятая же царизмом интервенция в Венгрии разрешала целый ряд стоявших перед ним задач: она парализовала попытки объединения Германии, она сохраняла Австрию как гегемона германских владений и предполагаемого союзника в восточных делах, она укрепляла русские позиции на подступах к проливам, она гарантировала status quo в польском вопросе. Стремление безоговорочно противопоставить в событиях 1848 г. Россию Европе приводит к упрощению и искажению исторической действительности. Почему Николай I не встретил никаких международных препятствий ни тогда, когда он оккупировал Молдавию и Валахию, ни тогда, когда он вторгался со своими войсками в Венгрию? Не только потому, что руки Англии были связаны подъемом чартизма и ирландским вопросом, но и потому, что подавление революции в дунайских княжествах изолировало революционное движение в Венгрии, ослабление же Австрии вовсе не было в интересах Англии, нуждавшейся в континентальном союзнике. «Только кончайте поскорее», — сказал Пальмерстон в ответ на сообщение Бруннова о вступлении русских войск в Венгрию. «Старайтесь действовать массами, — давал со своей стороны совет Веллингтон, — достаточными для подавления смуты одним ударом».[2] «Если бы Австрии не было, ее нужно было бы создать», — говорил тогда же Пальмерстон венгерскому послу в Лондоне.[3] Преследуя цели, прямо противоположные тем, какие стояли перед царской Россией, Англия не мешала ей действовать. Николай I выступал при дружественном нейтралитете Англии. Недаром Маркс и Энгельс называли Англию «скалою, о ко-

---

[1] С. Щербаков. Ген.-фельдмаршал кн. Паскевич, VI, 227.
[2] Мартенс. Собрание трактатов и конвенций, XII, 255.
[3] Franz Pulszky. Meine Zeit, mein Leben, II, 322.

торую разбиваются революционные волны».[1] Получив свободу действий в Италии, позицию нейтралитета заняла также и Франция. Нессельроде уверял даже русского посла в Вене Фонтона, что «единственный, кто мог бы произвести чудо восстановления порядка и спокойствия, — это Луи Бонапарт».[2] Николай I действовал в обстановке, которую Маркс охарактеризовал словами: «Русский медведь... способен на все, в особенности, когда он знает, что другие звери ни на что не способны».[3] Революцию 1848 г. царская Россия, по словам Энгельса, «могла приветствовать как чрезвычайно благоприятное для нее событие». «Если революция, перекинувшись в Вену, не только устранила главного противника России, Меттерниха, но и пробудила от спячки австрийских славян, этих вероятных союзников царизма; если она проникла в Берлин и тем самым исцелила на все готового, но ни на что не способного Фридриха-Вильгельма IV от его жажды независимости от России, — то можно ли было желать большего? Россия была обеспечена от всякой заразы, а Польша оккупирована так крепко, что не могла и шевельнуться. А как только революция распространилась и на Дунайские княжества, русская дипломатия получила то, чего хотела, — предлог для нового вторжения в Молдавию и Валахию, чтобы восстановить порядок и еще более укрепить там русское владычество».[4]

Однако события 1848—1849 гг. вместе с тем оказывались для царизма, по словам Энгельса, и «первым ударом похоронного колокола».[5]

Что это значит? Это значит, что роль царизма как вершителя судеб Европы подходила к концу.

Период 1848—1849 гг. был исходным пунктом той новой расстановки сил на международной арене, которою определилось происхождение и исход Крымской войны. Этого «удара похоронного колокола» Покровский в своей истории 1848—1849 гг. не показал.

Когда венгерский очаг революции был погашен и сохранность Австрии была обеспечена, терпеть возрастающее русское могущество на Востоке для Англии больше не было смысла. «Англия, — писал Энгельс в 1853 г., анализируя экономические корни англо-русского конфликта, — не может согласиться, чтобы Россия завладела Дарданеллами и Босфором. Это событие нанесло бы и в торговом и в политическом отношении крупный, если не смертельный, удар британской мощи».[6]

Не юридический вопрос о «праве убежища», а вопрос о фактическом влиянии в Турции, в Азии, вопрос об охране подступов к Индии волновал английскую буржуазию. «Возможно, — запугивал свою

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., VII, 103.
[2] Nesselrode. Op. cit., IX, 215.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 416.
[4] Там же, XVI, ч. 2, 26—27.
[5] Там же, 27.
[6] Там же. Соч., IX, 382.

аудиторию Осборн на одном из митингов, организованных фритредерами в Лондоне в июле 1849 г., — что Россия, завладев устьями Дуная и Константинополем, расширит свои завоевания, и граждане Лондона доживут до того времени, когда они будут читать русские бюллетени при свете собственных пылающих домов». Англия оставляет позицию дружественного нейтралитета в русско-турецком конфликте по вопросу о выдаче «мятежников»-эмигрантов и решительно и демонстративно становится на сторону Турции. Английский флот входит в Дарданеллы. Произносится слово «война». Входя в конфликт с Австрией по итальянским делам, Франция, не желая уступать Англии пальму первенства в восточных делах, присоединяется к ней.

В русско-прусских отношениях в обстановке 1848 г. уже обозначилась серьезная трещина. Австрия, тесно связанная последними событиями с царской Россией, еще держится с нею рядом. Но австрийская буржуазия смотрит опасливо на своего слишком сильного феодального соседа и сама укрепляется на ближневосточных позициях в устьях Дуная.

Русско-турецкий конфликт по вопросу о польских эмигрантах был ликвидирован дипломатическими средствами. Войны удалось избежать. Но семена ее быстро зрели.

Николай I продолжал свой натиск на Турцию. Он не сомневался в действенной дружбе прусского короля. Он был уверен в дружественном нейтралитете Австрии. Он был уверен даже и в том, что Англия в лице стоявших у власти его консервативных «друзей», если и не войдет с ним в сделку о разделе Турции, то во всяком случае не будет противодействовать его политике на Ближнем Востоке. Производя свой очередной нажим на Турцию, Николай в то же время стремился возглавить в Европе «крестовый поход» монархов против Луи Наполеона как нового «узурпатора» тронов. Поставленный перед опасностью восстановления коалиции 1813 г., Наполеон III стремился разбить эту коалицию. Поднявшийся к власти на плечах армии, Наполеон нуждался в агрессивной внешней политике и строил планы перекройки карты Европы. По его собственным словам, он «смеялся» над восточным вопросом, но, наметив Сирию в качестве своей будущей жертвы, готов был выступить «в защиту» Турции от натиска царской России. Чтобы не только разбить угрозу коалиции, но и обратить ее против России, он не мог найти лучшего района для своих действий, как турецкий Восток. В этом плане перед ним открывалась перспектива самому стать «вершителем судеб Европы», «взобраться на самую вершину старых наследственных монархий, использовав при этом в качестве лестницы Турцию». [1]

Но это было то самое, что нужно было Англии, нуждавшейся в континентальном союзнике, чтобы сбросить Россию с занятых ею на Ближнем Востоке позиций. Англо-французское сближение быстро

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 575.

созрело. Русский нажим на Турцию оказался бесплодным, русские угрозы — недействительными. Действительностью стала война. Силу притяжения англо-французского блока скоро почувствовала Австрия. Началась война царской России с англо-франко-турецкой коалицией при необеспеченном тыле со стороны Австрии. Началась война царской России с небывалой по своей мощности европейской коалицией, в рядах которой стояли две сильнейшие державы Европы, окруженные ореолом борьбы с блюстителем феодальных порядков и врагом буржуазных революций. Началась борьба, в которой «русский способ войны», основанный на отсталой экономике и подневольном труде крестьянства, столкнулся лицом к лицу с «европейским способом».[1]

Вместо Константинополя царизм пришел к Севастополю. «Мы сдались, — писал Самарин, — не перед внешними силами западного союза, а перед нашим внутренним бессилием».[2] Севастополь должен был пасть, по словам Аксакова, «чтобы явилось в нем обличение всей гнили правительственной системы, всех последствий удушающего принципа».[3]

Парижский мир, отбросивший, по словам французского историка восточного вопроса (Рене Пинона), Россию «на целое столетие», «изгнавший ее со двора своего собственного дома», явился сокрушительным ударом по всей системе проводившейся Николаем I политики — внешней и внутренней. Военно-дипломатическое поражение царизма ускоряло нарастание «революционной ситуации» и прокладывало путь к новому этапу в развитии производительных сил, к новому этапу в развитии классовой борьбы.

Выкинув за борт своей истории восточный вопрос и поднимавшуюся на его дрожжах англо-русскую борьбу, пытаясь вывести 1855 г. непосредственно из событий 1849 г., Покровский не мог дать и правильного объяснения происхождения Крымской войны.

Здесь Покровский рисует дело так. Потерпев неудачу в вопросе о выдаче эмигрантов и «не чувствуя себя готовым к войне с морскими державами», «русский деспот» затаил злобу и решил при первой возможности «отомстить» (стр. 118). В это самое время Наполеон III также решает «избавиться от Николая», учитывая то обстоятельство, что «буржуазное общество не могло терпеть занесенного над ним кулака феодальной России» (стр. 121). Столкновение этих двух волевых актов, казалось, должно было привести к войне. Начался «спор о ключах». Но дело, оказывается, было не так просто: «Николай всего меньше желал навязать себе на шею войну с Францией» (стр. 119). В то же время «президент французской республики вовсе не имел в виду серьезного столкновения, а тем более войны с Россией из-за палестинских дел» (стр. 119). Мало того: «французская дипломатия

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., X, 209.
[2] Самарин. Соч., II, 17.
[3] Аксаков. Соч., III, 180.

надеялась столковаться по этому вопросу непосредственно с Россией, не подвергая Турцию риску войны» (стр. 122). Предъявляя ультиматум Турции, царское правительство, в свою очередь, «было уверено, что стоит хорошенько припугнуть турецких министров, и они на все согласятся» (стр. 122). В то же время оно понимало, что «оккупация княжеств означала войну — почти наверное с Турцией и очень вероятно с Францией» (стр. 123). Правильно рассчитавший, «где надо искать уязвимую сторону русского самодержца» (стр. 121), Наполеон против своего явно выраженного желания провоцирует последнего на войну. Давая себе ясный отчет в создающемся положении, Николай, вопреки своему явно выраженному желанию, сознательно поддается на провокацию. Анализ душевного состояния спорящих «о ключах» монархов оказывается неубедительным. К тому же он и не полон. Покровский проглядел основное — Англию, стоявшую за спиною наполеоновской Франции. Он проглядел импозантную фигуру «великого посла» Стратфорда Каннинга, становившегося в Константинополе полновластным хозяином и превращавшего Турцию в провинцию, управляемую английским проконсулом. Первоначальный план Николая — придать войне «освободительный» характер, провозгласив независимость подвластных Турции христианских народов, также выпадает из поля зрения Покровского.

«Мы провозгласим, — проектировал Николай,[1] — желание действительной независимости молдо-валахов, сербов, болгар, босняков и греков, с тем чтобы каждый из этих народов вступил в обладание страной, в которой живет уже целые века, и управлялся бы лицом, избранным ими самими из своих же соотечественников».

Нессельроде отклонил этот план, как слишком демонстративное нарушение принципов легитимизма. Однако предложение царя «отправить немедленно на места способных людей» министром отклонено не было. Тем более, что «способные люди» посылались в эти места неоднократно и раньше. Агенты Азиатского департамента — Фонтон, Ковалевский и другие — развертывали работу среди подвластных туркам народов, пытаясь поднять их против власти султана.

Известно, что в начале 1854 г. вспыхнуло восстание в Эпире. Русское правительство поощряло греческого короля Оттона на оказание вооруженной помощи повстанцам. Движение охватило Македонию и Фессалию. В г. Пете было образовано временное правительство. В то время как посланные в Эпир египетские войска захватили Пету, французская дивизия заняла Пирей. В апреле 1854 г. вспыхнувшее среди греков национально-освободительное движение было подавлено при помощи вооруженной силы англичан и французов.[2]

В мае 1854 г. в одном из номеров французского журнала «Siècle» развивалась мысль о том, что франко-русская война на Ближнем

[1] Зайончковский. Ук. соч., II, 633—634.
[2] E. Driault. La Question d'Orient. Paris, 1921, p. 173.

Востоке, которая должна, в частности, привести к освобождению Польши и поставить Россию в границы допетровских времен, явится в то же время «великолепной дуэлью между цивилизацией и варварством, между принципами добра и зла, между светом и тьмою: с Францией и Англией на одной стороне и Россией и ее рабами — на другой, с Европой в качестве свидетеля и богом — в качестве арбитра и судьи».[1]

Становясь на точку зрения французской публицистики и французской историографии, Покровский утверждает, что Наполеон III, «при всей его сдержанности», «не мог» «не выручить Турцию, терпевшую все злоключения из-за него» (стр. 131).[2] Входя в положение англичан, Покровский говорит о том, что разгром турецкого флота при Синопе, «после того как Англия формально поручилась за неприкосновенность турецких портов», явился «пощечиной, которой английское общество не могло перенести» (стр. 136). Покровский считает, что именно это загнало Англию в лагерь врагов России, что ошибка русского правительства заключалась в том, что при Синопе русский флот не потерпел поражения.

Покровский не может отрицать того факта, что агенты российского правительства вели инсуррекционную работу среди балканских народов: «Глава европейского легитимизма, — говорит он, — быстро входил в новую роль революционного агитатора на Балканском полуострове» (стр. 140—141). Но так как, согласно концепции Покровского, Россия «и на Дунае ...продолжала бороться с европейской революцией», он, становясь на точку зрения турецких политиков, утверждает, что «сербы давно уже избавились от непосредственного угнетения турок», что черногорцы были охвачены «лояльными» настроениями, молдавы и валахи оказывались прямыми туркофилами, что действительным выразителем настроений и чаяний «райи» являлся в тот момент продажный константинопольский патриарх, который «нашел возможным поднести султану верноподданнический адрес с изъявлением своей преданности» (стр. 141—142).

Не поняв роли и значения восточного вопроса в системе внешней политики самодержавия, построив «синопскую» теорию происхождения англо-русской борьбы, выводя генезис Крымской войны непосредственно из событий 1848—1849 гг., рассматривая всю внешнюю политику Николая как политику дон-Кихота, борющегося с ветряными мельницами «духа времени», недоучитывая реальных интересов западноевропейских держав и роста их агрессии на Востоке, игнорируя национально-освободительное движение среди балканских

[1] Статья Хр. Островского, польского эмигранта, работавшего во французской публицистике. См. Ch. Ostrowsky, Lettres Slaves, 1833—1857, 3-me édit., 230—231, 240, Paris, 1857.

[2] Согласно G. Hanotaux (Histoire de la France contemporaine, t. IV, p. 86, Paris, 1908), в 1853 г. Николаю I «казалось, что груша (т. е. восточный вопрос. — *А. П.*) созрела и что ее остается только снять».

народов, Покровский дал своеобразную трактовку Крымской войны, которую можно назвать трактовкой английской, французской или турецкой, но которая весьма далека от научного марксистского объяснения войны.

Обращает на себя внимание и та ограниченность, которой страдают у Покровского его батальные картины. Выступая в качестве обличителя неспособного и бездарного царского командования, Покровский не выходит за пределы характеристики стратегических действий и настроений придворных кругов. Та «райя» николаевской монархии, которая была брошена на войну, которая несла на себе всю тяжесть защиты плохо укрепленного Севастополя и в течение 11 месяцев героически сдерживала напор соединенных сил Англии, Франции, Сардинии и Турции, выпала из поля зрения историка. Внимание его останавливается только на комическом виде ополченцев, которые собирались правительством в последние дни кампании и служили предметом насмешек для офицеров николаевской армии...

В заключение еще одно замечание по поводу данной Покровским концепции Крымской войны. Та «Европа», которая вела войну с Россией под Севастополем и вынудила царскую дипломатию на подписание «унизительного» Парижского мира, выступает у Покровского в виде единого монолитного целого, носителя революционного «духа времени», в виде «легиона общественного мнения», перед которым капитулирует русская «дворянская, барско-капиталистическая идеология» (стр. 174—179). Все это верно только постольку, поскольку дает нам представление о том, как воспринимались события Погодиным, его корреспонденткой из Дрездена Смирновой, отдельными министрами и сановниками Николая I (Блудов). Все это является, однако, упрощением и искажением исторической действительности, поскольку Покровский игнорирует те внутренние противоречия, которые «были заложены в пределах «Европы», ту внутреннюю классовую борьбу, которою действия этой «Европы» определились и ограничивались.

Войну 1853/56 г. Маркс и Энгельс включали в систему своего революционного стратегического плана.

В русском абсолютизме Маркс видел злейшего врага европейской революции. Но разрешение восточного «кризиса» он искал не в сохранении status quo на Балканах, не в борьбе за целость европейских владений Турции. «Полуостров, называемый просто Европейской Турцией, — писал Маркс в апреле 1853 г., — представляет естественный наследственный удел южно-славянской расы».[1] Образование независимого славянского государства на месте «одряхлевшей прогнившей Порты», по мнению Маркса, не только не должно было привести к утверждению могущества русского царя на Балканском полуострове, — наоборот, оно должно было оттеснить на задний план прямое русское влияние на турецких славян. «Общеизвестно, —

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 395.

писал Маркс тогда-же, — что в каждом государстве на территории Турции, достигавшем полной или частичной независимости, тотчас же вырастала сильная антирусская партия».[1] Вместе с тем, однако, в октябре 1854 г. Маркс предупреждал: «Все дело в том, что ныне правящие англичане — ни Чатамы, ни Питты младшие и ни даже Веллингтоны — не думают серьезно об уничтожении даже морских сил России и русского влияния в Турции, Персии и на Кавказе».[2] Выдвигая задачу революционной войны против царской России, Маркс вместе с тем указывал на стоящую перед английским рабочим классом задачу революционной борьбы против правящего класса Англии: «чтобы дать отпор притязаниям царя, нужно прежде всего свергнуть бесславное господство этих низких раболепных и подлых обожателей золотого тельца».[3] О том, как смотрели Маркс и Энгельс на «Европу» того времени, видно из того, на какую «державу» они ориентировались в своей стратегии. Именно к этому времени относится их указание: «в Европе существует еще одна шестая держава, которая в известные моменты подчиняет себе все пять так называемых «великих держав» и каждую из них заставляет дрожать. Держава эта — революция».[4]

Надежды Маркса и Энгельса на то, что в условиях Крымской войны эта шестая держава явится «с мечом в руке... и опрокинет все расчеты на равновесие держав», не сбылись.

«Ни политический, ни социальный уклад Европы не поколеблен в результате войны. Все эти громадные расходы и потоки пролитой крови ничего не дали народу»,[5] — говорили они. Крымскую войну, эту «скучную войну», Энгельс, однако, считал все же полезной, так как она воочию обнаружила бессилие не только царской России, но и бонапартистской Франции и буржуазной Англии.[6] А когда война кончилась и была утрачена возможность свержения «русского абсолютизма» «европейской демократией», Маркс и Энгельс заговорили об «официальном банкротстве Европы» и указывали на Францию, где должен рухнуть «бонапартистский карточный домик» и откуда можно ждать толчка для дальнейшего развития революции.[7]

«Европа»-победительница Покровского сильно отличается от «обанкротившейся» Европы Маркса и Энгельса.

От Крымской войны до Лондонской конвенции о проливах

Крымская война разбила те политические силы, определенное сочетание которых поддерживало Европу Венского конгресса: была

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, стр. 394.
[2] Там же, XXII, 58.
[3] Там же, IX, 474.
[4] Там же, IX, 608.
[5] Там же, X, 596.
[6] Там же, 142—147.
[7] Там же, XXII, 112.

парализована военная мощь николаевской монархии, главной опоры «охранительных» начал; распался союз трех континентальных держав; погасла англо-французская дружба, и Англия осталась снова без континентального союзника; в роли вершительницы судеб Европы выступала наполеоновская Франция, стремившаяся к перекройке карты Европы и в своей борьбе с Австрией, как старым гегемоном центральной Европы, ставившая ставку на рост национального движения в Италии и Германии.

«Война, — говорит Ленин, — есть продолжение средствами насилия той политики, которую вели господствующие классы воюющих держав задолго до войны. Мир есть продолжение *той же* политики с *записью* тех изменений в отношении между силами противников, которые созданы военными действиями. Война сама по себе не изменяет того направления, в котором развивалась политика до войны, а лишь *ускоряет* это развитие».[1] Борьба за выход к Черному морю и за проливы была главной задачей внешней политики царской России, начиная с последней четверти XVIII в. Этой борьбой определялась для царизма и необходимость Восточной войны, а также политика царизма и после Севастополя.

Англо-русские противоречия, основные противоречия предшествующей эпохи, продолжая оставаться в силе, принимали иные формы и локализовались в иных районах действия.

Внешняя политика страны с помещичьей властью, после сделанного ею «первого шага по пути буржуазного развития», была политикой, рассчитанной на консервацию пережитков крепостничества, а следовательно на развитие капитализма вширь.

«Развитие капитализма вглубь, — писал Ленин, — в старой, издавна заселенной, территории задерживается вследствие колонизации окраин. Разрешение свойственных капитализму и порождаемых им противоречий временно отсрочивается вследствие того, что капитализм легко может развиваться вширь... Возможность искать и находить рынок в колонизуемых окраинах (для фабриканта), возможность уйти на новые земли (для крестьянина) ослабляет остроту этого противоречия и замедляет его разрешение».[2] Но, предпринимая свое наступление в направлении наименьшего сопротивления на Дальнем и Среднем Востоке, царская Россия неизбежно сталкивалась с тем наступлением, которое в этих районах вела Англия. Англо-русские противоречия получали новую питательную базу. В этих условиях ослабленная войной царская Россия вынуждалась к поискам союзника на международной арене, с помощью которого она могла бы продолжать свою борьбу за проливы. Этот союзник должен был помочь царскому правительству в разрешении и другой, стоявшей перед ним задачи — охраны «порохового погреба империи»

[1] В. И. Ленин. Соч., XIX, 50.
[2] Там же, III, 465.

от тех революционных искр, которые могли быть занесены с Запада на территорию Российской империи. «Наша политика не может не быть монархической и антипольской» — таково было политическое завещание последнего министра николаевского царствования. Борьба за обеспечение «порядка и спокойствия» в пограничной, легко воспламеняющейся Польше, являвшаяся второй задачей внешней политики николаевского царствования, оставалась в системе внешнеполитических установок русского царизма и после Крымской войны.

Царизм приступал к разрешению стоявших перед ним задач с учетом «записи тех изменений», какие внесла война в расстановку сил на международной арене.

Общие линии той международной борьбы, в которой после Крымской войны принимала участие царская Россия, в общих чертах можно определить так. Ослабленная и утратившая свои качества гегемона Европы, царская Россия стремилась к тому, чтобы без войны добиться отмены ограничительных пунктов Парижского трактата. Ради этого она шла на сближение с наполеоновской Францией. Стремившийся к перекройке карты Европы Наполеон за поддержку своих агрессивных планов в Европе обещал Александру II содействие в ближневосточных делах. Так как в плане европейской агрессии Наполеона стоял вопрос о Польше, начавшееся франко-русское сближение не могло быть длительным. Вспыхнувшее в 1863 г. в Польше восстание привело Наполеона к попытке дипломатического вмешательства в русско-польские отношения. Попытка эта кончилась неудачей, так как Францию не поддержала Англия, которая не была заинтересована в превращении Польши в государство, вассальное Франции. На почве подавления польского восстания царская Россия сблизилась с Пруссией. Вступая в войну с Австрией за преобладающую роль в Германии, Пруссия заручилась непротиводействием со стороны России, пообещав последней поддержку в вопросе о проливах. Во время франко-прусской войны, за обещанную поддержку в тех же ближневосточных делах, царская Россия соблюдала дружественный по отношению к Пруссии нейтралитет. Вместе с бисмарковской Германией она поддерживала французскую буржуазию в подавлении Парижской коммуны. Опираясь на поддержку Бисмарка, Горчаков заявил об отказе России признавать для себя обязательность ограничительных пунктов Парижского трактата. Противодействие, оказанное Англией и Австрией выступлению Горчакова, привело к заключению компромиссной Лондонской конвенции, объявившей проливы закрытыми для военных судов всех наций. Не оставляя ни на минуту работы по укреплению своего влияния среди балканских народов, царская Россия на данном этапе связывала осуществление своих задач на Ближнем Востоке с поддержкой Германии и шла в этой связи к соглашению трех императоров.

По Покровскому, вся внешняя политика царской России первой половины XIX в. «была лишь проекцией русского режима на Западе»

(стр. 177). Никаких интересов на Востоке, в проливах, царская Россия не имела, и под Севастополем русские войска сражались только с «духом времени». Не удивительно, что результаты такой войны с призраками могли быть только призрачными. Никаких изменений в международной обстановке в результате войны Покровский не ищет. Никакого падения международного удельного веса царской России в результате войны Покровский не находит. Никакого ущерба, нанесенного войной тому значению, какое имел царизм как блюститель принципов легитимизма, Покровский не видит.

В своей характеристике внешнеполитической линии царской России за период от Крымской войны до Берлинского конгресса Покровский исходит из положения, что Александр II в своей внешней политике еще более, чем во внутренней, «являлся верным сыном своего отца и продолжателем его системы». Сущность этой системы сводилась, по мнению Покровского, к тому, что царская Россия попрежнему считала себя «присяжной противницей духа времени», призванной к борьбе с «партией всесветной революции» (стр. 230). Покровский доказывает это ссылкой на отношение правящих кругов царской России к неаполитанской революции, на разрыв дипломатических сношений России с Сардинией, на декларацию российского министерства иностранных дел, осуждавшую сардинцев за захват чужой территории. В своей оценке этого документа, заключавшего в себе заведомую официальную ложь, Покровский исходит не из выяснения тех реальных интересов, которые определяли позицию правительства в данном конкретном вопросе, а из тех же априорных соображений о природе русской внешней политики, из презумпции о ее борьбе с «всесветной революцией» (стр. 231). Даже тот официальный историк двух царствований, на которого опирается в значительной части своего изложения Покровский и который к борьбе с буржуазными революционными движениями на Западе относится с нескрываемым сочувствием, считает необходимым определить те реальные интересы, которые лежали в основе политики царя. Он указывает на то, что французский посланник в Петербурге Морни верно разгадал причину сближения Петербурга с Веною, заметив, что речь шла о том, «как бы распространение революционного движения в Венгрии не отразилось на Польше».[1]

К этому надо добавить: разрыв дипломатических сношений России с Сардинией относится к сентябрю-октябрю 1860 г. Весь предшествовавший четырехлетний период был периодом франко-русской дружбы, в течение которой Россия поддерживала Наполеона в его борьбе против Австрии. Борьба Наполеона против Австрии была в то же время борьбой против гегемонии Австрии в Италии, стремившейся к свержению австрийского гнета и к воссоединению своих

[1] С. Татищев. Император Александр II, его жизнь и царствование, I, 267. СПб., 1903.

областей вокруг королевства Сардинии. В апреле 1859 г. началась австро-франко-итальянская война. А в марте 1859 г.[1] между Россией и Францией был заключен договор, согласно которому Россия продвинула на время войны к австрийской границе 160-тысячную армию с целью оттянуть силы австрийцев. Царская Россия не имела никаких реальных интересов в Италии. Но, конечно, Александр поддерживал Наполеона не из симпатий к национально-освободительному движению в Италии. Александр поддерживал франко-сардинскую коалицию в надежде получить от Наполеона поддержку в ближневосточных делах и прежде всего в вопросе об отмене ограничительных пунктов Парижского трактата.[2]

До этого момента царская Россия и наполеоновская Франция действовали дружно и в деле объединения дунайских княжеств (1857 г.), и в Черногорском вопросе (1858 г.), и в вопросе о борьбе с австрийским влиянием в Сербии (1858 г.).

После того как в середине 1859 г. Наполеон III, получивший Савойю и Ниццу, заключил с Австрией мир, не предупредив своего союзника, франко-русские отношения стали расстраиваться. События в Италии форсировали национально-освободительное движение на Балканах: в конце 1859 — начале 1860 г. начались волнения в Боснии и Герцеговине, в Болгарии и Македонии, в Фессалии и Эпире. Турки жестоко подавляли их. Создавалась угроза поголовного восстания турецких христиан. Перед царским правительством открывалась перспектива овладеть вновь тем «рычагом» покровительства балканским христианам, который им был утерян в 1856 г. Сделать это царизм мог, только опираясь на поддержку Франции. Но Франция на этот раз не оказала поддержки. Начатые в феврале 1860 г. Киселевым в Париже переговоры о соглашении по восточным делам затянулись. Циркуляр Горчакова от 20 мая 1860 г., предлагавшего выработку понудительных мер против Турции, поддержан Францией не был. Франция шла в эту пору на сближение с Англией и в июле 1860 г. в связи с происшедшей в Сирии резней христиан послала с согласия Англии в Сирию 7-тысячный оккупационный корпус. Повторная попытка Горчакова поднять вопрос о положении балканских христиан снова потерпела фиаско. Царское правительство не могло быть довольно таким исходом дел. Оно стояло перед фактом революции, бушующей на Аппенинском полуострове, которая легко могла перебросится в Венгрию и Галицию и которая поддерживалась с его собственного ведома его собственным союзником. К тому же революционная волна нарастала в Польше. Союзник получил все выговоренные им ранее территориальные компенсации. Россия же, не получив ничего, осталась при всей совокупности унизительных пунктов ненавистного трактата.

[1] Красный архив, 88, 182—255.

[2] Goriainoff. Révue de Paris, III, 531, 1912. См. также Charles Roux, op. cit. p. 240—256.

Когда революционное движение охватило Неаполь, и пьемонтская армия двинулась к неаполитанской границе, чтобы пожать плоды побед Гарибальди и присоединить брошенный королем Неаполь к Пьемонту, царское правительство протестовало против нарушения Пьемонтом «вечных законов» права и отозвало своего посланника из Турина (сентябрь — октябрь 1860 г.). Тогда же Александр II переписывался со своим прусским дядей (принцем-регентом) о необходимости охранить «общественный» порядок в Европе. Тогда же Александр II выезжал на свидание с Францем-Иосифом и принцем-регентом прусским в Варшаву. На свидании речь шла о сохранении мира в Европе, о мерах борьбы с революцией, о польских делах. Когда прибывший в Варшаву Киселев представил царю записку «о пользе оборонительного союза с Францией...», царь сделал помету: «против кого»?[1] В русских военных кругах считали своевременным начать передвижение войск в направлении к польской границе.

Как видим, вопрос о разрыве дипломатических сношений с Сардинией объясняется не так просто, как это хотел представить Покровский, сводивший все дело к наследственному характеру идеологии Александра II.

Игнорируя те основные изменения, какие происходили в этот период в расстановке сил на международной арене — ослабление России и стремительное выдвижение Пруссии, Покровский дает искаженное изображение русско-прусских отношений. Россия не протестует против занятия в 1864 г. Шлезвиг-Голштинии саксонскими и ганноверскими войсками не только потому, что она видит в этом, как отмечает Покровский, меру охранительного порядка (стр. 231), но и потому, что она считает нужным поддержать Пруссию против Англии. Такую же поддержку Пруссия получила и со стороны Франции, позиция которой едва ли могла определяться принципами легитимизма.[2]

Когда Пруссия, разгромив Австрию и низложив ряд мелких немецких династий, своими энергичными действиями вызвала беспокойство в Петербурге, дело не ограничилось тем, что Бисмарк обещал Александру проявлять твердость в отношении германского рейхстага, после чего, как утверждает Покровский, «русское правительство успокоилось»; чтобы успокоить Александра, Бисмарк тогда же послал в Петербург ген. Мантейфеля, который заверил царя в том, что Пруссия не будет возражать против отмены Россией стеснительных для нее обязательств 1856 г.[3]

То изображение, которое стремится дать Покровский внешней политике Александра II как политике «царя-идеолога», требует весьма существенных коррективов. Вульгарный психологизм, на который сбил-

[1] С. Татищев. Ук. соч., стр. 269.
[2] Там же, II, 45—80.
[3] Там же, I, 477—498.

ся, как мы видели, Покровский в трактовке внешней политики Николая I, является и здесь прямою угрозой правильному изложению событий. Трактовка Покровским этих событий находится в решительном противоречии с той характеристикой, какую давал Маркс внешней политике александровского царствования: «Эта политика, — писал он, — не является ни легитимистской, ни революционной, но с одинаковой легкостью использует все возможности территориального расширения — безразлично, должно ли оно быть достигнуто присоединением к восставшим народам или к борющимся монархам».[1] Это положение Маркса получает полное подтверждение во внешней политике царизма на протяжении пятнадцатилетия, следующего за Крымской войной. Но обратимся сначала к ходу мысли Покровского. По Покровскому, дружба царизма с Францией Наполеона III разладилась из-за итальянского вопроса: царизм не мог «преодолеть свою социальную природу» и выступил против воссоединения Италии. Дополнительным моментом явилось то обстоятельство, что Наполеон III «чувствовал для себя морально невозможным не вмешаться в пользу поляков». «Забота о торжестве охранительных начал на Западе» привела Александра к союзу с Пруссией и Австрией (стр. 234). «Как и в первую половину столетия, общий тон политики отражался и на восточных делах» (стр. 231). «Одновременно с этим выступления России на Балканском полуострове начинают вдохновляться тем же консервативным настроением» (стр. 236). Доказательством этого положения, по мнению Покровского, должна служить позиция, занятая Россией в момент критского восстания.

Если говорить о «социальной природе» царизма, определявшей его внешнюю политику в рассматриваемый период, следовало бы, разумеется, прежде всего вспомнить о польском вопросе, который дал знать о себе, как известно, с первых дней Крымской войны, когда в Добрудже был сформирован польский легион под начальством Чайковского и когда Адам Чарторыйский давал Наполеону III совет перенести войну к границам польских губерний.[2] Согласно Покровскому, разъединил Россию и Францию не столько польский, сколько итальянский вопрос, и только благодаря особым «моральным» качествам Наполеона III в систему франко-русских отношений вошел также и вопрос о Польше. Согласно Покровскому, в основу русско-прусского союза легла отвлеченная идея о торжестве охранительных начал в Европе: как будто русско-прусская конвенция, подписанная 27 января — 8 февраля 1863 г. Горчаковым и Альвенслебеном и открывшая новую полосу в русско-прусских отношениях, была заключена не по такому весьма конкретному вопросу как польский вопрос и не в разгар польского восстания; как будто Бисмарк в своем разговоре с вице-президентом прусской палаты не произнес

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XII, в. 2, 152.
[2] Корнилов. Ук. соч., 44—45.

тогда хорошо известных Покровскому слов: «Польский вопрос может быть разрешен только двумя способами: или надо быстро подавить восстание в согласии с Россией и предупредить западные державы совершившимся фактом или же дать положению развиться и ухудшиться, ждать, пока русские будут выгнаны из царства или вынуждены просить помощи — и тогда смело действовать и занять царство за счет Пруссии».[1]

Если говорить о «социальной природе» царизма, определявшей его внешнюю политику, следует также вспомнить относящееся к 1860 г. указание Маркса на то, что после Крымской войны царская Россия не имела возможности выбраться из внутренних противоречий иначе, как при помощи внешней агрессии. «Ясно, — писал Маркс, — что самодержец Франции и самодержец России, подвергаясь давлению одной и той же повелительной необходимости трубить в трубы войны, действуют во взаимном согласии».[2]

Известно, что Александру II удалось в те годы добиться военных успехов на Кавказе, занять левый берег Амура и начать победоносное военное продвижение в Средней Азии. Что касается вопроса о проливах, то здесь царизм стоял теперь перед необходимостью преодолеть ряд крупных препятствий и проделать большую подготовительную работу. Дело было не только в падении удельного веса России на Балканах, как говорит Покровский, но и в падении удельного веса России в Европе, а отсюда и в растущем влиянии на Балканах Австрии и Франции. Дело было также и в развивавшемся национальном движении среди балканских народов. Значение Парижского конгресса заключалось не в том только, что «грандиозное предприятие императора Николая, — как говорит Покровский, — потерпело полное крушение». Во-первых, это не было «предприятие», обязанное инициативе одного Николая, а во-вторых — царизм, вынужденный конгрессом к временному отступлению, вовсе не считал «предприятие» погибшим. Именно 60-е годы являются тем временем, когда царизм занят деятельной подготовкой к новому продвижению в направлении к проливам. В чем же заключалась эта работа? По Покровскому, — в совместной работе с Турцией против восставших критян. Если, касаясь трактовки Покровским русской политики на Западе, мы можем сказать, что Покровский неправильно акцентировал на итальянских делах в ущерб польским, приняв фразеологию царских дипломатов по виллафранкскому делу за чистую монету и позабыв, что фразеология эта имела польскую подкладку, — трактовка Покровским русской политики на Востоке рассматриваемого десятилетия находится в полном разладе с фактами и внутренней и внешней политики.

Еще в ноябре 1858 г., касаясь вопроса о русской внешней политике после Севастополя, Маркс писал: «Еще более расшатать Турцию

---

[1] С. Татищев. Ук. соч., I, 477—498.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XII, ч. 2, III.

и установить свой протекторат над ее христианскими подданными — таковы были цели, к которым Россия стремилась в начале войны...» Констатируя далее факт «обессиления Турции» в результате войны, Маркс приходил к выводу, что в этом отношении Россия по окончании войны все же «оказалась в круглом выигрыше».[1] Перед царской Россией, ни на минуту не оставлявшей мысли о проливах, стоял вопрос о том, как пустить в предпринимаемое ею дело реванша на Балканах этот нажитый на чужой беде капитал.

В период бурного роста национального движения на Балканах идеология издавна агрессивно настроенной, издавна предрасположенной к ближневосточной агрессии дворянской группировки, известной под именем славянофилов, этих «миссионеров славянского дела», становилась для царизма орудием крупного политического значения. Укрепив себя успешной внутренней «сделкой», царизм держал курс на новую большую агрессию под развернутым знаменем «всеславянства». Недаром Маркс в 1865 г. писал об опасности «панславизма», отмечая, что «это не только движение в пользу национальной независимости», но движение, которое грозит «смести с карты Европы Турцию, Венгрию и половину Германии»...[2] Именно на период 1861—1867 гг. приходится развертывание славянофилами своей агитационной и организационной работы, когда филиалы Петербургского славянского комитета открываются в Киеве и Одессе, когда Погодин пишет свои «окружные послания к славянам», когда производится переброска из одного места в другое вывезенной из Праги части руки св. Кирилла, когда на устроенную в Москве этнографическую выставку (1867 г.) съезжаются представители славянских народов.[3]

Та пропаганда, какая велась славянофилами в период указанного семилетия, пропаганда, требовавшая расширения восточного вопроса до пределов вопроса всеславянского, приобретала значение широкого идеологического прикрытия той конкретной политической работы, какую именно в этот период проводила царская дипломатия на путях ее продвижения к проливам. Предоставляя идеологам славянофильства разработку проблемы во всей ее полноте, царское правительство в лице своего органа, Азиатского департамента министерства иностранных дел, ограничивалось минимальным вариантом «панславизма» — идеей союза балканских славян.

Царская дипломатия ищет прежде всего реальную точку опоры на Балканах. К началу 60-х годов княжества Молдавия и Валахия, собранные теперь в единое княжество Румынию, служившие прежде предметом «покровительства» царской России, подпадая под влияние сначала французское, а затем австро-германское, теряли для царизма то значение, какое они имели для него прежде в качестве одного из

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XI, ч. 1, 368.
[2] Там же, X, 389.
[3] М. Погодин. Собрание статей, писем и речей, стр. 61—78.

«рычагов» разрешения восточного вопроса, в качестве плацдарма, удобного для продвижения к проливам. Румыния становилась, по словам аксаковского «Дня», «чуждым» политическим телом, лежащим «между нами и славянами поперек дороги в Царьград».[1]

Весьма мало пригодны для дела были и греки, о которых вспоминает Покровский. Получив от Англии Ионические острова (в 1862 г.), Греция так научилась ценить английскую дружбу, что без пререканий принимала от англичан одного за другим кандидатов на греческий престол. Оставались сербы, болгары и черногорцы. Сербы были по тому времени особенно сильны. Правящие сербские группы начинали проникаться великосербскими настроениями. Династия Обреновичей, только что получившая власть из рук царской России (1858 г.), еще не растеряла старых воспоминаний. К тому же уже заставлял говорить о себе увеличивавшийся импорт товаров из соседней Австрии. «Сербия в силу обстоятельств и вследствие своего исключительного положения, — значится в инструкции министерства иностранных дел русскому консулу в Белграде от 27 ноября 1860 г., — сделалась как бы центром и точкой опоры прочих славянских областей Турции».[2] «Нам необходимо стараться сгруппировать, — говорится в другой инструкции того же министерства от мая 1866 г., — все разнородные элементы славян в Турции около Сербии как около центра, из которого впоследствии, при благоприятных обстоятельствах, должно возникнуть главное движение, поддерживаемое в совокупности всеми славянами».[3] Царское правительство начинает финансировать сербского князя и сколачивать сербо-черногорско-болгарский союз под эгидою Сербии. Царское правительство не пренебрегало и соглашением с вождем Герцеговины Лукой Вуколовичем. Царское правительство пыталось привлечь к делу органы болгарского национального движения, а когда это не удалось, в противовес «Тайному болгарскому Национальному комитету» западнической ориентации, создает на территории Румынии параллельный «Явный болгарский Центральный комитет». Царскому правительству удалось привлечь к союзу с сербами и греческие гетерии. Не были позабыты даже албанцы. К 1867 г. Балканский союз можно было считать формально сложившимся.

Но созданное орудие оказывалось мало пригодным для действий в усложнявшейся обстановке. Это был период, когда быстро росла не только греческая, но и сербская буржуазия, когда, в условиях укреплявшегося австро-французского сближения и среди греческой и среди сербской буржуазии стремительно росла западная ориентация, когда, несмотря на пролитый царизмом золотой дождь, катастрофически падало русское влияние в Сербии, когда ставленник

[1] День от 19/I 1887 г.

[2] МИД, Гл. архив, П. О., д. 240, Белград, 1860.

[3] МИД, Гл. архив, П. О., д. 6. Болгария. Революционные комитеты, 1866.

России сербский князь Михаил был убит (1868 г.) и ставшее у трона новое правительство несовершеннолетнего Милана обнаруживало готовность подчиняться директивам из Вены. В это время на происходившем в Вене (1869 г.) совещании русского посла бар. Икскюля с прибывшим к нему из Константинополя Игнатьевым говорилось о желательности «добиться того, чтобы отсрочить поднятие балканских народов против Турции до того момента, когда мы были бы в состоянии нейтрализовать австрийские силы или до возникновения первого международного конфликта, могущего послужить диверсией для предполагаемого восстания».[1]

Нельзя ни на минуту упускать из виду также и то, что это было время, когда сцементированная польскими делами русско-прусская дружба окрепла настолько, что Бисмарк мог поставить в повестку дня вопрос о войне с Францией и об аннексии Эльзаса и Лотарингии, и для царского правительства стало возможно говорить о пересмотре Парижского трактата и рассчитывать в этом деле на прямую поддержку Берлина.

В этом плане становится понятным то равнодушие, какое проявлял царизм во время критского восстания в 1867 г., в тот год, когда было прекращено финансирование Балканского союза, надолго закрыты славянофильские газеты и прекращена «панславистская» агитация. В этом плане становится понятным и появление циркуляра Горчакова о необходимости покончить с «революционной фразеологией и инструкциями, чуждыми и навязанными ей [власти] в силу необходимости». Но в этом же плане становится понятной и ошибочность даваемой Покровским трактовки внешней политики царизма за рассматриваемый период.

Не поняв реальных внешнеполитических интересов царизма, рассматривая продвижение царизма на Балканах не как стержневую задачу царской дипломатии в XIX в., а как случайное «предприятие» Николая I, руководившегося идеологическими мотивами по преимуществу, видя в Александре II выразителя все той же николаевской «идеологии», Покровский принял фразеологию Горчакова за единственный реальный мотив того внешнеполитического курса, какой был взят царизмом во 2-й половине 60-х годов в балканском вопросе и который выразился, по словам Покровского, в «предательстве опекаемых им интересов балканских славян» (стр. 237).

Покровский оказывается не одиноким в том тупике, в какой он зашел в объяснении этого вопроса. По существу он повторяет лишь то недоумение и ту критику деятельности царской дипломатии, какая развивалась на страницах либерального «Вестника Европы», в робких выражениях обвинявшего правительство в небрежении «правым делом» восставших греков и указывавшего на вредные последствия занятой царской дипломатией позиции.[2] В том же 1867 г. лучше

[1] МИД, Гл. архив, П. О., д. 150, л. 139, Константинополь, 1868.
[2] Вестник Европы. Иностр. обозр., 442—444, март 1869.

информированный Аксаков в своем органе предупреждал: «Как ни велика наша симпатия к грекам, мы не можем и не должны приносить им в жертву ни наших братьев славян, ни интересов России».[1] А два года спустя, говоря о трудностях, выраставших перед Россией на Балканах и отражавшихся прежде всего на положении турецких христиан в лице «братьев-критян», катковский полуофициоз так утешал пострадавших: «Нужно выждать время, чтобы приготовить себе возможность обойти их (препятствия. — *А. П.*), а иногда требуется даже отступить, именно для того, чтобы отважным и сильным движением перескочить через них».[2]

Бросая созданный ею Балканский союз как мало пригодное в данных условиях орудие, царская Россия готовилась к тому, чтобы сделать новый прыжок к водам Босфора. Прыжок этот, как известно, ей удалось сделать не сразу. Но в следующем же году она начала движение в направлении к проливам, избрав путь в Константинополь через Берлин и Вену. На этом пути царское правительство поддерживало бисмарковскую Германию против Франции Луи-Наполеона и, далее, правительство Третьей республики против Коммуны. На этом пути ему представлялось возможным добиться отмены тех статей Парижского трактата, которые устанавливали нейтрализацию Черного моря и запрещали России иметь черноморский военный флот. Дело началось с известной декларации кн. Горчакова, где речь шла об уничтожении односторонним заявлением России одного из постановлений международного договора. В рассматриваемое десятилетие это был третий по счету факт одностороннего нарушения международных трактатов: в 1864 г. это сделали Австрия и Пруссия в датском вопросе, в 1866 г. нарушила международные трактаты 1815 г. Пруссия, уничтожив Германский союз.[3]

Нота Горчакова встретила решительный протест со стороны Англии, которая ни в 1864, ни в 1866 г. протестов не заявляла. Протестуя против формы разрешения данного вопроса, английская дипломатия настояла на перенесении вопроса на международную конференцию. Царизм имел на своей стороне Германию. Отсутствие на сцене занятой войной Франции усиливало шансы царской дипломатии. После упорной трехмесячной дипломатической борьбы царская Россия добилась своего. Правда, в течение ближайших лет Россия не сумела воспользоваться открывшимися ей в 1871 г. возможностями и не создала сколько-нибудь серьезной военной силы в черноморских водах. Но нельзя пройти мимо слов, сказанных Александром II своему сыну еще в 1861 г., цитированных в другой связи самим Покровским: «Я не умру спокойно, пока не увижу его (черноморский флот) возрожденным».[4] Нельзя в этой же связи пройти мимо того, что

[1] День от 19/I 1867 г.
[2] Московские ведомости № 16 от 19/I 1869 г.
[3] С. Горянинов. Босфор и Дарданеллы, стр. 151.
[4] БСЭ, II, ст. М. Покровского «Александр II», стр. 158.

именно этою мерою — завоеванием права на флот — правительство стремилось поднять свой престиж, пошатнувшийся в период франко-прусской войны: «Никогда еще, — по словам современника, — наше правительство не находилось в таком разъединении с общественным мнением, как во время разгрома Франции немецкими полчищами».[1] Достижением в вопросе о проливах правительство надеялось засыпать эту трещину. Дипломатический успех царизма вызвал поток приветственных телеграмм от дворянских собраний, городских и земских управ. Он легализовал и оправдывал в глазах «общественного мнения» тот новый путь разрешения восточного вопроса, который был теперь избран.

Не поняв значения восточного вопроса в системе внешней политики Александра II, не учтя тех сдвигов, какие происходили в ту пору в расстановке международных сил, не определив обусловленности внешней политики Александра его политикой внутренней, Покровский дал неправильное освещение всей его внешней политике и, в частности, вопросу о борьбе за отмену Парижского трактата. Исторический анализ этого вопроса он сузил рамками юридического анализа действовавших трактатов, с одной стороны, анализа индивидуальной психологии Александра — с другой: последнему, по словам Покровского, «нужно было загладить свою «трусость», воспоминания о которой так угнетали его, — загладить каким-нибудь смелым поступком» (стр. 238). Все действия Александра II иного объяснения у Покровского не находят. Касаясь же самого факта отмены Парижского трактата, Покровский ограничивается тем, что дает читателю сильно запоздавшую историческую публицистику, упрекая Александра и Горчакова, которые раньше выступали с протестами против нарушения договоров, в нелогичности. Он противопоставляет им «сильных своей логикой» англичан (стр. 240). В своей запоздалой полемике с Горчаковым Покровский ссылается на Бисмарка, на данную им однажды нелестную характеристику царской дипломатии (стр. 239), хотя Покровскому не могло не быть известно, что именно в данном вопросе Бисмарк оказал царской дипломатии безоговорочную поддержку.[2]

В своем анализе юридической природы факта нарушения Парижского трактата Покровский приходит к выводу о том, что перед «Европой», представленной западноевропейской дипломатией, стояла задача «призвать ее [Россию] к порядку перед лицом всего цивилизованного мира за ту форму, в какой она принялась за это дело» (стр. 240). Позиция, занятая Покровским в этом вопросе, и вся развиваемая им юридическая аргументация в данном случае всецело покрывается той позицией, которую занимал, и теми доводами, какие развивал на Лондонской конференции статс-секретарь по иностранным

[1] Феоктистов. Воспоминания, стр. 111.
[2] С. Горянинов. Босфор и Дарданеллы, стр. 149. См. также «Grosse Politik», II, № 222.

делам Великобритании лорд Гранвиль.[1] Этой английской концепцией борьбы царской России за отмену Парижского трактата, концепцией, определявшейся в конечном счете тем, что Англия еще не успела подойти вплотную к реализации своих собственных захватнических планов на Ближнем Востоке и была попрежнему заинтересована в поддержании Турции в состоянии политико-хозяйственной прострации, Покровский подменяет подлинно научное марксистское освещение вопроса.

Война 1877—1878 гг.

Покровский переходит к выяснению генезиса русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Позабыв о том, что совсем недавно (на стр. 241) он охарактеризовал Лондонскую конвенцию о проливах (1871 г.) как «демонстрацию неловкости и трусости» русской дипломатии, теперь (на стр. 243), исходя из мысли о том, что «раз сделанный удачный шаг всегда побуждает к следующему», он приходит к выводу, что эта удача должна была поставить перед царизмом вопрос о возвращении Бессарабии. «Из-за вопроса о Бессарабии,—говорит он, — понемногу стал выплывать вопрос о Балканском полуострове, а затем и о Константинополе» (стр. 244). Упустив из виду, что молдаво-валашский вопрос в рассматриваемую пору уже не мог играть для царизма той роли, какую он играл в 20—40-х годах, и установив «бессарабское» происхождение русско-турецкой войны, Покровский утверждает, что Бисмарку «было в высшей степени неприятно видеть, как Александр II пытается подражать своему отцу в роли вершителя судеб Западной Европы» (стр. 245). Бисмарк, который, действительно, боялся франко-русского сближения (1875 г.), который, как известно, страдал от «кошмаров коалиций» и основной задачей своей политики ставил изоляцию Франции, вырисовывается у Покровского человеком, туго разбиравшимся в сложившейся после Крымской войны международной конъюнктуре, когда царизм уже не мог играть роль «вершителя судеб Европы».

Отмеченная неприятность произошла с Бисмарком только потому, что условий новой конъюнктуры не понял Покровский. Недаром в конъюнктуре второй половины 70-х годов он находит черты, напоминающие ему конъюнктуру 1854 г.: только Франция, «загипнотизированная, — по словам Покровского, — германской опасностью», не могла принять активное участие во враждебной России коалиции. Позиция Англии, согласно Покровскому, была и теперь позицией необходимой самообороны от русской опасности: русская агрессия в Средней Азии «самым серьезным образом беспокоила английскую дипломатию», и Англия «имела все основания проявлять гораздо больше активности», чем раньше (стр. 256).

Нужно еще раз оговориться: Покровский не только не имел намерений развенчивать Бисмарка, но под влиянием французского

[1] С. Горяинов. Ук. соч., 152 и сл.

историка Hanotaux[1], приписал ему даже много такого, чего тот вовсе не заслужил. Мы знаем, что Бисмарк положил не мало усилий на создание союза трех императоров. Мы знаем также, что в задачи Бисмарка входило ослабление своего наиболее сильного и наименее надежного союзника — России путем поддержки активной русской политики на Балканах. В то же время известно, что, поступаясь своим взглядом на Австрию как на прирожденного антагониста России на Балканах и рассчитывая найти в Берлине заветные «ключи» от своего дома, Александр II после Севастополя ни на минуту не оставлял Балкан в беспризорном состоянии. В 1873 г., в год подписания русско-германского и русско-австрийского соглашения, российское министерство иностранных дел рассылало своим консулам на Востоке инструкцию, обязывавшую их собирать и доставлять всевозможные сведения о военном положении Турции, включая сюда и информацию о месте расквартирования отдельных полков и даже рот. А в период боснийско-герцоговинского восстания, в тревожные дни нараставшего вновь восточного кризиса, царское правительство предпринимает даже попытку воскресить ликвидированный им «Балканский союз», избирая теперь, в условиях намечающегося австро-русского сотрудничества, точкой опоры уже не Сербию, а маленькую «дружественную» Черногорию.[2]

В изображении Покровского никакой активной политики на Балканах в рассматриваемое время Россия не ведет. По Покровскому, ни на международной арене, ни, в частности, на Балканах никаких признаков присутствия «вершителя судеб Европы» не заметно. Все дела вершит один Бисмарк. Он организует при помощи своих австрийских агентов восстания в Боснии и Герцоговине, он же заставляет царя совершить «крутой поворот» в своей восточной политике (стр. 254). И так как Бисмарк хочет лучше договориться с царем, а последний оказывается на страницах истории Покровского существом трудноуловимым, Бисмарк через посредство принца Александра Гессенского заключает соглашение со славянофилами. «Соглашением этих двух сил, — говорит Покровский, — и объясняется прежде всего дальнейший ход дипломатической кампании» (стр. 254—255). Классового анализа этого нового союзника Бисмарка Покровский нам не дает. Известно, что «славянофильство», бывшее в половине XIX в. идеологией одной из временно приблизившихся к власти фрондировавших помещичьих группировок, в дальнейшем превратилось в удобное орудие Азиатского департамента. Покровский изображает «славянофильство» как курьезную, болтавшуюся

[1] Hanotaux (op. cit., 91—94, 108, 133—134) был склонен рассматривать Горчакова как бессознательное, но послушное орудие Бисмарка. Согласно Hanotaux, в 1876 г. нити войны и мира были в руках Бисмарка; Бисмарк же толкнул Россию на войну.

[2] МИД, Гл. архив, П. О., д. 267, л. 259, Белград, 1876.

в пределах империи «силу», случайно открытую Бисмарком (стр. 246) и пошедшую «на поводу у Германии» (стр. 244). «Помощь, оказанная этим неожиданным союзником видам германской политики, — пишет Покровский, — была самая существенная: без нее правительство Александра II едва ли зашло бы так далеко, пытаясь реставрировать планы Николая Павловича» (стр. 246).

Как же выглядели теперь эти планы конкретно? Так как Александр II являлся продолжателем дела Николая I, который до конца своих дней, как объявил раньше Покровский, был специалистом по делам Священного союза, планы Александра II исчерпываются формулой борьбы с «духом времени». Покровский оговаривается: «Но поле битвы с врагом постепенно суживалось. В начале века Священный союз брал на себя защиту «вечных начал нравственности и порядка» на всем протяжении Европы... Николаю Павловичу в 1848 г. пришлось ограничиваться приведением в порядок только Восточной Европы. Арена его продолжателей была еще менее широка» (стр. 249). «Только Балканский полуостров, — поясняет Покровский, — населенный наиболее отсталыми славянскими народами, представлял еще сколько-нибудь годную почву для схватки с Европой» (стр. 250).

Борьба за идеи Священного союза на Балканах — так определяет Покровский конкретные политические планы правительства Александра II, перелицовывая архаический тезис Данилевского.[1] Славянофильство в данный период Покровский рассматривает не как орудие, удобное для Азиатского департамента в борьбе за проливы, а как выразителя новой стадии борьбы с «Европой» на Балканах. Заслуга Бисмарка в этом деле заключается в том, что ту войну, какую в течение десятилетий вела царская Россия со всем «цивилизованным миром», со всей «революционной Европой», он сумел превратить в войну локализованную.

Может быть, мы неправильно понимаем Покровского? Может быть, он имел в виду указать на то, что, начиная войну с Турцией, царизм руководствовался задачей подавления нараставших в стране революционных сил? При объяснении происхождения войны 1877 г. этого момента нельзя не учитывать. Голодающая деревня, на которую, по словам статс-секретаря Половцева, нельзя было возлагать надежд как на «элемент порядка»,[2] пришедшая в замешательство от надвигавшегося с запада экономического кризиса торгово-промышленная буржуазия, переходящие к нелегальной деятельности либеральные земцы-помещики, быстро охватывающаяся «крамольными» настроениями городская мелкобуржуазная интеллигенция, придававшая работе полицейского аппарата характер Сизифова труда, — такова была картина

[1] Данилевский. Россия и Европа, стр. 330, 425—426. Россия согласно Данилевскому, призвана к разрешению восточного вопроса потому, что в вопросе этом проявляется борьба греко-славянского, православного мира с миром романо-германским, католическим.

[2] Красный архив, 33. Дневник Половцева, стр. 188.

состояния царской России в рассматриваемую пору, дававшая идеологу крепостнической реакции Победоносцеву основания предупреждать наследника о том, что «состояние умов очень опасно», что «силы, поднимающиеся теперь во всех слоях русского общества, таковы, что правительству необходимо решиться на что-нибудь», что «минута теперь очень важная не для внешней только политики».[1]

Недаром Энгельс еще в 1875 г. писал, что Россия «находится накануне революции».[2] Маркс в 1877 г. также отмечал, что Россия «находится накануне переворота» и что «все необходимые элементы для этого уже готовы».[3] А в своей статье «Европейские рабочие в 1877 г.», анализируя внутреннее положение России со времени 1861 г., Энгельс приходил к заключению: «Для русского правительства оставался только один путь спасения — путь, открывающийся перед всяким правительством, оказавшимся лицом к лицу с непреодолимым сопротивлением народа, — внешняя война. И оно решилось на внешнюю войну».[4]

Покровский высказывает по этому вопросу диаметрально противоположные взгляды. «Русское правительство, — говорит он, — так думали многие, хотело одновременно и отвлечь внимание общества от внутренней политики и помириться с ним возможно дешевой ценой... В настоящее время не может быть сомнения, что решили дело не эти соображения внутренней политики, а нечто другое» (стр. 254). Что же именно? Покровский поясняет, что решило вопрос именно указанное выше «соглашение» принца Александра Гессенского со славянофилами (стр. 254—255), т. е. решило вопрос, в конечном счете, искусство Бисмарка, сумевшего переключить внимание императора с «Европы» на Турцию.

Покровский не интересуется расстановкой классовых сил к началу войны и не дает развернутого анализа расстановки сил на международной арене. Что касается положения на самом Балканском полуострове, то здесь никаких национальных движений среди народов полуострова он не видит: болгары в его изображении мечтают только о том, как бы остаться подольше под турецким владычеством (стр. 251): герцеговинцы способны только на аграрный бунт, возникающий при явной поддержке австрийцев; сербы не думают ни о чем другом, как о скотоводстве и хлебопашестве (стр. 261). Смешивая понятие национальности с понятием расы, Покровский приходит к такой мысли: «Надо иметь в виду, что никакого националистического славянского движения в 1876 г. на Балканском полуострове не было. Существовала, правда, революционная националистическая организация («Омладина») — нечто вроде греческой гетерии начала столетия, но она по значению и влиянию далеко не могла равняться с послед-

[1] Письма Победоносцева к Александру III, 1, 48—50.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XV, 263.
[3] Там же, XXVI, 480.
[4] Там же, XV, 409.

ней» (стр. 258). А на ряду с этим читаем: «начавшееся» летом 1875 г. в Боснии и Герцоговине «движение» привело сначала к сербо-турецкой, а затем и к русско-турецкой войне» (стр. 252). Что это было за движение — «националистическое», «славянское» или «революционное» — и как оно могло привести к войне, бессарабское происхождение которой было ранее установлено, — Покровский не поясняет.

Это значит, что, подобно народникам и меньшевикам, Покровский не понял того, что «основным объективным содержанием исторических явлений во время войн не только 1855, 1859, 1864, 1866, 1870, но и 1877 (русско-турецкая) и 1896—1898 гг. (война Турции с Грецией и армянские волнения) были буржуазно-национальные движения, или «судороги» освобождающегося от разных видов феодализма буржуазного общества».[1]

Известны сказанные Александром II наследнику в октябре 1876 г. слова о том, что «без войны мы ничего не добьемся» и что необходимо найти только «положительный повод» для ее объявления.[2]

Это были дни, когда австро-венгерское правительство в своих затянувшихся переговорах с Россией настаивало на том, чтобы в случае русско-турецкой войны Австрии была предоставлена не только Босния, как о том было условлено в Рейхштадте, но и Герцоговина.[3]

Царское правительство именно в эти предвоенные дни преисполнено у Покровского нерешительности и погрязает в пассивности и безинициативности. Оставленный Бисмарком, «на поводу» у которого он шел до сих пор, царь-идеолог посылает Игнатьева в круговую поездку по европейским дворам хлопотать о вмешательстве (стр. 263). Хлопоты затянулись. А так как «содержание нескольких сот тысяч человек на военной ноге в финансовом отношении почти стоило войны» (стр. 264), то царь во избежание дальнейших расходов подписал манифест о войне. Как увязать эту интендантскую теорию происхождения войны с перечисленными выше бессарабской и боснийско-герцоговинской, — Покровский не поясняет. Круг противоречий и небылиц в лицах, из которых соткана история происхождения русско-турецкой войны, замыкается. Война начинается. Покровский исказил историческую действительность не только тем, что вслед за Hanotaux лишил царское правительство всякой самостоятельности преследуемых им политических целей на Балканах. Он исказил ее, упустив из виду и те политические планы, какие преследовала бисмарковская Германия, действительно провоцировавшая Россию на военное выступление, предлагавшая в это самое время Англии заключение наступательно-оборонительного союза против Франции[4] и толкавшая Австрию к участию в разделе Турции. Он исказил историческую действитель-

[1] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 109.

[2] Слова эти цитирует сам Покровский в своей статье «Александр III» в т. II БСЭ, 162. См. также Charles Roux, op. cit. 240—256.

[3] С. Горянинов. Ук. соч., стр. 284 и сл.

[4] Там же, 310—311.

ность также и потому, что прошел мимо тех изменений, какие происходили в ту пору в установках английской восточной политики: теряя прежний интерес к сохранению неприкосновенности Турецкой империи, Англия сама начинала стремиться теперь к ее разделу, к захвату Кипра, Египта и к овладению Дарданеллами.[1] Еще с апреля 1877 г. Англия вела с Портой переговоры об английском протекторате над Египтом, и премьер-министр Египта Нубар-паша дважды приезжал в Лондон для обсуждения этого вопроса.[2] Недаром германский посол в Лондоне отмечал в ту пору, что в политике английского правительства назревает поворот к активному участию в дележе турецкого наследства.[3] Это были сигналы назревания новой империалистической эры. Но Покровский не заметил этих фактов, и это предопределило его дальнейшие крупнейшие ошибки в трактовке исторических событий новейшей эпохи.

Ход русско-турецкой войны изображается Покровским по усвоенной им для батальных сюжетов традиции. Тщательно собираются факты, характеризующие стратегические ошибки русского командования. Тщательно выискиваются случаи симуляции среди солдат русской армии. Все это заключается положением о том, что в первую половину кампании «руководимая этим живым хаосом армия не могла, разумеется, выполнять никакого определенного плана» (стр. 279) и что в следующей фазе военная кампания «превращается в сплошную авантюру» (стр. 280). А когда после взятия Плевны дело подходит к тому, что «турецкая армия как организованное целое перестала существовать», факт этот объясняется тем, что «турки дали себя разбить» (стр. 291). Не больше «объективности» проявляет Покровский в изображении той дипломатической борьбы, какая завязалась на исходе войны между Россией, с одной стороны, и Англией и Австрией — с другой.

Еще в первые дни войны (май 1877 г.) Горчаков давал Шувалову вполне определенную установку в вопросе о начавшихся тогда же в Лондоне дипломатических переговорах по турецким делам. Центр тяжести русских требований, согласно инструкции Горчакова, должен был лежать в вопросе о проливах. Горчаков требовал пересмотра «политического положения проливов», по которому Черное море, закрытое во время мира, открывается, в случае войны, всем флотам, враждебным России. «Россия, — писал он, — хотя замкнутая в Черном море, не пользуется никаким обеспечением безопасности, тогда как это море, принадлежа двум береговым владельцам, по справедливости, должно быть равным образом открыто им обоим».[4] Поручая Шувалову заверить державы в том, что Россия не заинтересована в обладании Константинополем, Горчаков предупреждал его, вместе

[1] С. Горяинов. Ук. соч., 310—311.
[2] «Grosse Politik», № 275, в. II.
[3] Там же, № 289, 290, 295.
[4] С. Горяинов. Ук. соч., стр. 317.

с тем, не давать обязательства, что русские войска временно его не займут. В процессе войны англо-русские переговоры приняли, как известно, настолько острый характер, что английское правительство в качестве решающего аргумента сосредоточило, в нарушение трактатов, свой флот в Дарданеллах. «Я знаю своих товарищей по кабинету, — говорил тогда же лорд Дерби Шувалову, — они не хотят войны, но желают удовлетворить свою партию демонстрациями. Вознаградите их чем-нибудь... какою-нибудь морскою станциею вне Мраморного моря и Дарданелл — и вы достигнете непосредственного соглашения с ними».[1] Добившись от России отказа от своих требований в вопросе о проливах, англичане сами вознаградили себя Кипром, а через 7 лет — и Египтом. В процессе тех же переговоров заявили и австрийцы свои притязания на Новобазарский санджак и получили право на проведение в нем военных и торговых дорог и учреждение в нем военных постов.[2]

Согласно Покровскому, все дело до подписания Сан-Стефанского договора сводилось к тому, что снедаемый честолюбием русский главнокомандующий с отрядом босоногих, израсходовавших все свои патроны солдат «непременно хотел завладеть Константинополем» (стр. 291).

Лорд Дерби в изображении Покровского стоит на страже законности и соблюдения трактатов и, так как временное занятие Константинополя русскими войсками могло вызвать «неудовольствие» в английском «народе», «принимает весьма естественную меру предосторожности» (стр. 292—293), посылая к Константинополю свой флот. Выше всякой похвалы оказывается и позиция Австрии, которая, согласно Покровскому, зорко следит за точным соблюдением австро-русской конвенции от 3 января 1877 г. (стр. 294), а когда настал конец ее долготерпению, «заняла то положение, которое давно предписывалось ей общественным мнением, и вступила в соглашение с Англией» (стр. 297). Преклоняясь перед авторитетом австрийского «общественного мнения», отдавая дань уважения голосу английского «народа», Покровский считает себя свободным от необходимости дать анализ реальных интересов и Англии и Австрии и от описания действительной дипломатической борьбы отвлекается изображением психологического состояния вел. кн. Николая Николаевича. Даваемый Покровским анализ формальных противоречий между так называемым Порадимским проектом (1878 г.) трактата и австро-русским соглашением 1877 г. сам страдает внутренним «противоречием»; определив (на стр. 295) Сан-Стефанский трактат как «некоторого рода комедию», которую играла русская дипломатия, не обманывавшая себя иллюзией возможности обойтись без международного конгресса и действовавшая по принципу «запрос в карман не лезет» (стр. 294),

[1] С. Горяинов. Ук. соч., 341.
[2] Там же, 347.

Покровский утверждает далее (на стр. 298), что дело ликвидации Сан-Стефанского трактата принесло царскому правительству «мучения Тантала» и внесло в его ряды «смятение умов». Увлекшись констатацией «явных и грубых противоречий» между сан-стефанскими условиями мира и «формально данными Австрии» (в Рейхштадте в 1876 г.) обещаниями, Покровский прошел мимо действительного содержания Сан-Стефанского договора. Сан-Стефанский прелиминарный договор, как известно, намечал радикальные изменения в политической карте Балканского полуострова, приводившие к созданию на Балканах не только Великой Болгарии, но и сплошного ряда независимых от Турции сильных славянских государств. Покровский прошел также мимо действительного содержания пунктов Берлинского трактата. Берлинский трактат явился, как известно, торжеством поддерживаемой Бисмарком англо-австрийской дипломатии, которая, ревизуя сан-стефанские условия, сделала все, чтобы поставить пределы свободному развитию и усилению новых славянских государств Балканского полуострова, чтобы сохранить здесь льготы и привилегии, завоеванные раньше европейской торговлей у Порты, чтобы создать из этих районов базу для австро-германской экспансии на Востоке. О том, что в этих условиях прелиминарный Сан-Стефанский договор приобретал значение политической демонстрации, Покровский ничего не сказал. Рассматривая вопрос о последствиях русско-турецкой войны, Покровский прошел также мимо того кардинального факта, что, подтвердив соответствующие статьи Парижского и Лондонского договора, Берлинский трактат оставил вопрос о проливах в том положении, в каком он находился до русско-турецкой войны, что основной вопрос для политики царской России на Балканах война не разрешила — Россия не была допущена к проливам.

Тот вывод, к какому приходил Покровский в своем исследовании вопроса о русско-турецкой войне, звучит как сентенция, заимствованная из арсенала радикальной публицистики. «Если крепостной режим не хотел отказаться от самого себя, ему оставалось только тщательно воздержаться от всякого вмешательства в дела Европы, заботясь только о том, чтобы и она в его дела не мешалась» (стр. 301).

Рассматривая вопрос о значении русско-турецкой войны с типичных для русского мелкобуржуазного радикала позиций, Покровский не сумел преодолеть той ограниченности, какая была свойственна мелкобуржуазной публицистике в понимании фактов международной борьбы, и, констатировав военную «неспособность» царизма, не увидел того, что дипломатический исход войны являлся показателем падения удельного веса царизма на международной арене и изменений в расстановке борющихся на ней сил.

В 1877 г. Бисмарк, как изображал дело Покровский, сумел отвратить от «революционной» Европы меч, занесенный над нею царской Россией, заставив последнюю повернуть на Балканы и растра-

тить там свои силы в бесплодной войне. Заслуга Бисмарка очевидна. Не менее очевидна заслуга лорда Дерби и графа Андраши, стоявших, согласно Покровскому, во все время войны на страже «законности». Война была удачна для «Европы» в лице Турции и кончилась неудачею для России. Но дело было еще далеко до своего завершения. Гидра была жива и продолжала шевелиться в Болгарии. Ход исторических событий ставил Покровского перед проблемой: «Главное, — говорит он, — заключалось в судьбе русского влияния в Болгарии. Станет ли эта страна тем, о чем мечтали славянофилы, или передастся «Европе» и, в конце концов, станет одним из тормозов для распространения истинно русской идеологии?»

Энгельс подходил к вопросу иначе. Признавая значительность успехов русской политики на Балканах, Энгельс вместе с тем ограничивал значение этих успехов фактом происшедшей после 1878 г. перегруппировки международных сил: «Если эльзас-лотарингский вопрос,— писал он, — толкнул Францию в объятия России, то поход на Константинополь и Берлинский договор толкнули Австрию в объятия Бисмарка. А тем самым все положение опять изменилось. Крупные военные державы континента разделились на два больших, угрожающих друг другу лагеря: Россия и Франция, с одной стороны, Германия и Австрия — с другой... Но это значит, что русский царизм не может сделать последнего решающего шага, не может действительно овладеть Константинополем без мировой войны с приблизительно равными шансами, войны, исход которой будет, вероятно, зависеть не от той или другой вступившей в борьбу страны, а от Англии».[1]

«Вообще, именно, после 1878 г., — продолжал Энгельс, подчеркивая падение удельного веса царской России на международной арене, — обнаруживается, как сильно ухудшилось положение русской дипломатии с тех пор, как народы все чаще стали позволять себе тоже вмешиваться в дело, и притом вмешиваться с успехом. Даже на Балканском полуострове, где Россия специально выступает как освободительница народов, уже ничего не выходит».[2]

Политика царизма в Болгарии в 80-х годах

После Берлинского конгресса русский царизм, как известно, пытался закрепить свои позиции в Болгарии. При отсутствии черноморского флота для него было особенно важно приблизить свои военные силы к проливам.

Русскую политику в Болгарии 80-х годов Покровский как типичный представитель «экономического материализма» выводит из заинтересованности русских «железозаводчиков и железнодорожников» в

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 33.
[2] Там же, 35.

обладании своей «колонией» (стр. 345). Покровский считает, что война 1877—1878 гг. — война «русского феодализма» с «Европой» — была проиграна Россией потому, что ей пришлось примириться с введением в Болгарии конституционного строя (стр. 345): последний стал препятствием к завоеванию болгарского рынка русской металлургией. В связи с этим царское правительство организует «превратт» (переворот) 1881 г. (стр. 346). В результате русская дипломатия получает возможность расчистить пути для русского промышленного капитала: последний в лице Полякова и Гинзбурга появляется в Болгарии. Одновременно болгарским рынком стремится овладеть и русский купеческий капитал, и московское купечество снаряжает в Болгарию торговую экспедицию (стр. 349). Стоящая у власти в Болгарии партия консерваторов стремится захватить железнодорожное строительство в свои руки и оказывает русской железнодорожной политике решительное сопротивление. Начинается борьба за направление будущих железнодорожных линий. Русские металлурги борются с австрийскими: Гинзбург и Поляков — с Гиршем (стр. 349—352). Болгарский князь становится на сторону австрийцев. Русская железнодорожная политика терпит фиаско. «Это было начало конца» (стр. 354). Русское правительство теряет под ногами всякую почву в Болгарии. Единственным выходом для него является новая оккупация. «Европа» становится на защиту Болгарии от русской агрессии (стр. 355).

Можно ли согласиться с изложенной концепцией русско-болгарских отношений 80-х годов?

Полная недомолвок, неточностей, неверных фактических данных, ошибочная в своих отправных положениях, эта концепция должна быть отвергнута целиком. Она основана на неправильном понимании генезиса русско-турецкой войны и лежит своими корнями в глубоко ошибочном игнорировании роли и значения вопроса о проливах в системе внешней политики царской России. Не видя этого основного движущего фактора русской внешней политики, Покровский начинает искать базу, которую можно было бы подвести под политику русского царизма в Болгарии в 80-х годах. Он ищет ее в экономике и находит по видимости твердую и надежную базу — металлургическую. Аргументом в пользу этого положения должна служить, по Покровскому, деятельность в Болгарии Гинзбурга и Полякова и их борьба с Гиршем. Необходимо заметить, что сам по себе факт этот еще ничего не доказывает кроме того, что после экономического кризиса 70-х годов интернациональные биржевые дельцы снова пришли в движение. В борьбе за железнодорожные концессии в Болгарии приняли участие не только русские и австрийцы, но и представители французского капитала. Сами Гинзбург и Поляков были в большей мере связаны с Парижем, чем с Петербургом. Гирш, в свою очередь, был связан с англичанами. И деятельность Гинзбурга, и деятельность Полякова едва ли в настоящем случае может быть рассматриваема как деятельность типичных представителей русского промыш-

ленного капитала, ибо слишком трудно было проложить грань, где кончался Гинзбург и где начинался Гирш.[1]

Но дело не только в этом и не столько в этом. К этому же времени относится появление в Болгарии в качестве соискателя концессий русского капиталиста Губонина. Последний не проявил должной активности и упустил концессию, не внеся своевременно установленного залога[2]. Известно, что к этому же времени относится появление русских капиталистов в качестве соискателей железнодорожных концессий в Персии, но речь там шла не столько о том, чтобы строить железные дороги, сколько о том, чтобы они никем не были построены[3].

Разумеется, русские металлурги получили бы выгоды, если бы царизм стал строить железные дороги в Болгарии. Но, вступая в борьбу за железнодорожные концессии в Болгарии, царское правительство меньше всего думало об интересах русских концессионеров. Свои концессионеры царскому правительству были нужны, но они были нужны прежде всего для того, чтобы железнодорожное строительство в Болгарии пошло по нужному для царизма пути: поскольку Болгария являлась в данный момент форпостом на путях русского продвижения к проливам, постольку болгарский железнодорожный вопрос приобретал для царизма прежде всего значение стратегическое. Поэтому-то вся борьба за концессии вылилась в борьбу за направление будущих железнодорожных линий. И поэтому «русское» меридиональное направление должно было уступить место австрийскому, основанному на более твердой экономической базе. Борьба за железные дороги в Болгарии, оказавшаяся для всего дела утверждения русского влияния в Болгарии чреватой крупнейшими политическими последствиями, является эпизодом в истории поступательного движения России к проливам. Сводить русскую политику в Болгарии к заинтересованности русских металлургов в создании нового рынка сбыта значит выдавать явление производного порядка за главный определяющий фактор.

Приводимая Покровским ссылка на факт отправления в Болгарию московским купечеством торговой экспедиции не только не помогает укреплению концепции о непосредственной экономической заинтересованности царской России в Болгарии, как в рынке, но окончательно разрушает эту концепцию.

Еще в 1859 г. журнал «Вестник промышленности» вынужден был признать, что «в Турции и Леванте, куда прежде отпускалось гораздо большее количество русского железа, оно стало заменяться

---

[1] С. Д. Сказкин. Конец союза трех императоров, стр. 256—272.

[2] Историк-марксист, № 3, 13, 1934.

[3] Новый Восток, № 12, 1926. «Англо-русское соперничество на иранских путях». Международная жизнь, № 4—5, 1924. «Страница из истории русской политики в Персии».

английским»,[1] что, с другой стороны, та же Турция «сделалась любимою мыслью австрийских экспортеров», «естественным местом» для сбыта австрийских товаров.[2]

В период ближневосточного кризиса 70-х годов экономическая связь русской промышленности с турецким и балканским рынками стала совсем призрачной. На одном из заседаний «Общества для содействия русской промышленности и торговле» в 1875 г. рассматривалась составленная в русском посольстве в Константинополе записка, где констатировалось, что вывоз русских промышленно-фабричных изделий стал почти равен нулю.[3] Выделенная обществом для изучения вопроса специальная комиссия скоро прекратила свои работы. Общество перешло к излюбленным им темам завоевания рынков среднеазиатского, персидского и китайского. В декабре 1881 г., по инициативе славянофильских кругов в Москве, были действительно созваны совещания крупнейших фабрикантов и торговцев для обсуждения проекта учреждения общества торговли с балканскими странами. На собраниях присутствовал И. Аксаков и даже Скобелев, уговаривавший Т. С. Морозова. Результатом этих совещаний была снаряженная в Болгарию экспедиция, о которой рассказывает Покровский. Но каковы были результаты этой экспедиции? Она вернулась в следующем году с печальной информацией о безнадежности борьбы на балканских рынках с иностранными конкурентами.[4] В те же годы определилась участь Черноморско-дунайского пароходства, основанного еще в 1881 г. по частной инициативе кн. Гагарина. Провлачив жалкое существование в течение 5 лет, растратив все свои капиталы и не дождавшись ответа на свои обращения к капиталистам Москвы, Петербурга и Одессы, Гагарин был вынужден ликвидировать предприятие, уступив дорогу австрийцам. Проект учреждения Восточного банка с центральным правлением в Одессе, так же как и проект учреждения Русско-болгарского страхового общества, остался только на бумаге.[5]

Русский капитал в Болгарию не шел следом за русскими генералами, как это бывало в других местах. Продолжаемое царским правительством на Балканах наступление носило ярко выраженный военно-феодальный характер. Напомним, что руководителей этой политики Энгельс называл «императорскими русскими действительными тайными динамитными советниками».[6] Недаром даже в недрах министерства иностранных дел проявлялась характерная двойствен-

[1] Вестник промышленности, № 8, III, 149—156; также № 2, I, отд. 1, 141—161, 1859.

[2] Там же, № 4, т. II, отд. 1, 43—54.

[3] Труды Общества для содействия русской промышленности и торговле, IX, 11—13, 1876.

[4] Московские ведомости, № 13 от 12/I 1883; Новости, № 32 от 4/I 1883 г.

[5] Биржевые ведомости, № 254 от 24/X 1881 г.

[6] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. I, 191.

ность: не склонный к активизации русской политики в болгарском вопросе министр иностранных дел Гирс весьма часто не был в курсе тех начинаний, которые предпринимались в Болгарии агентами Азиатского департамента, а тем более военного министерства и министерства внутренних дел. Но царь был в курсе всех этих начинаний, увязывавшихся единой целью. «По-моему», — определял эти цели Александр III в своем письме от 12 сентября 1885 г. к начальнику главного штаба ген. Обручеву, — у нас должна быть одна главная цель: это занятие Константинополя, чтобы раз навсегда утвердиться в проливах и знать, что они будут постоянно в наших руках. Это в интересах России, и это должно быть наше стремление; все остальное, происходящее на Балканском полуострове, для нас второстепенно. Довольно популярничать в ущерб истинным интересам России. Славяне должны теперь сослужить службу России, а не мы им».[1]

То ударение, которое Александр III делал на необходимости перестать «популярничать», следует рассматривать в плане его борьбы с «паршивым либерализмом» как наследием предыдущего царствования. В болгарском вопросе это означало решительный отказ от милютинской политики, основанной на учете национального движения в балканских странах. По примеру народников игнорируя факт национального движения на Балканах вообще и в Болгарии в частности, не учитывая того, что дававшуюся в 40-х годах Марксом и Энгельсом оценку национального движения среди чехов и южных славян как движения, усиливавшего николаевское самодержавие и потому реакционного, нельзя переносить на движения 70-х годов, Покровский не мог понять и слов Маркса, который уже в 50-х годах говорил: «Та самая дипломатическая система (status quo на Балканах. — *А. П.*), которая изобретена специально для предотвращения русских захватов в Турции, вынуждает десять миллионов греческих христиан в Европейской Турции обращаться к России за помощью и защитой».[2] Эта первая ошибка Покровского, которая была допущена им в трактовке истории русско-турецкой войны, повлекла за собою вторую ошибку, относящуюся непосредственно к вопросу о русской политике в Болгарии в послевоенный период. Нельзя отрицать того факта, что непосредственным результатом русско-турецкой войны 1877—1878 гг. явилось ускорение процесса консолидации Болгарии как независимого государства. Несомненно также и то, что в своем стремлении сделать Болгарию русским форпостом на Балканах и привязать Болгарию к России правительство Александра II ориентировалось на поддержку национального движения в Болгарии. Но недаром Маркс еще в 1853 г. указывал на то, что «в каждом государстве на территории Турции, достигавшем полной или частичной независимости, тотчас же вырастала сильная антирусская

[1] Красный архив, 46, 180—181 примеч.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 393.

партия. И, если это имело место тогда, когда русская помощь являлась единственным прибежищем от турецкого угнетения, чего же мы можем ожидать, когда исчезнет страх этого угнетения».[1] Совершенно очевидно, что образование независимого княжества Болгарии должно было явиться предпосылкой и для роста болгаро-русских противоречий в послевоенный период. Но историк не может пройти также и мимо того факта, что с воцарением Александра III, с решительным курсом его на разрыв с «паршивым либерализмом» во внутренних и внешних делах, процесс этот должен был форсироваться и обостряться. Не выяснив объективной роли России в деле развязывания болгарского национального движения, упустив из виду связь внешней политики царизма с его политикой внутренней, Покровский не сумел показать того, как царская Россия, до известной поры объективно благоприятствовавшая развитию национальной самостоятельности славян, с известного времени становится помехой для их национальной свободы; он дал унифицированную и потому искаженную картину русско-болгарских отношений. Унифицировав русскую политику в болгарском вопросе и не вдвинув ее в международные рамки, Покровский оставил без внимания и другой, весьма важный вопрос — о германской и австрийской политике на Балканах.

Известно, что, стремясь к локализованной войне с Францией, Бисмарк толкал и даже прямо провоцировал царское правительство на агрессию в Болгарии, ни на минуту не забывая об интересах своего главного союзника — Австрии. Что касается австрийской политики на Балканах, то она на известном этапе проводилась под лозунгом «экономическая аннексия без политической». В этом плане она ставила перед собой задачи железнодорожного строительства и заключения торговых договоров. Но уже Рейхштадт и позиция Австрии в русско-турецкую войну показали, что приближается пора, когда характер этой политики должен коренным образом измениться.

«Австрия, заняв Боснию, — писал Энгельс, — стала сообщницей в разделе Турции».[2] Босния стала «постоянным кровопусканием для Австрии, яблоком раздора между Венгрией и западной Австрией и, кроме того, *доказательством для Турции*, что австрийцы и русские готовят ей судьбу Польши».[3] В то же время движение славян в Австрии, сопровождавшееся требованием расширения избирательного права, стало приобретать теперь для австро-венгерской монархии явно революционный характер. Та политическая роль, какую в 70-х годах продолжала играть Австрия на Балканах как сила, противоборствующая военно-политической агрессии русского царизма, приобретала в условиях растущего Drang nach Osten объединенного австро-германского капитала все более реакционный характер: в Болгарии

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 394.
[2] Там же, XVI, ч. 2, 33.
[3] Там же, ч. 1, 260.

Австрия собиралась сыграть ту же роль, какую она уже сыграла в отношении Сербии.

Перенося некритически и недиалектически понятия и фразеологию из эпохи 40-х и первой половины 50-х годов на 80-е годы, когда в политике европейских держав стали звучать новые империалистические мотивы, когда царизм потерял свое прежнее значение «гегемона Европы», Покровский противопоставляет затеянной Александром III новой авантюре на Балканах традиционную «охранительную» и «освободительную» миссию Австрии, отождествляя последнюю с «Европой», как символом «революции», противостоящей русской реакции.

Эта ошибка Покровского была чревата для него и прямой опасностью подменить псевдомарксистской, по существу архаической радикальной фразеологией подлинный марксистско-ленинский анализ назревавших империалистических противоречий на Балканах и, в конце концов, притти, как он это сделал впоследствии, к оправданию проводившейся там австро-германским капиталом империалистической политики.

Франко-русский союз

Образование франко-русского союза было, как известно, одной из основных вех на пути к перегруппировке международных сил, которая после организации Тройственного союза в 1882 г. происходила в последней четверти XIX в., в эпоху перехода капитализма к монополистической фазе своего развития, и вылилась в конечном счете в распадении мира на две враждебные империалистические коалиции. Образование этого союза требует поэтому от историка особенно внимательного изучения «политики всей системы европейских государств в их экономическом и политическом взаимоотношении»,[1] умения охватить факты внешней и внутренней политики того времени во всем их конкретном многообразии.

Английская оккупация Египта, захват Бирмы и других территорий, завоевание французами Туниса и Аннама, выступление Италии в Африке, продвижение России в Средней Азии и присоединение туркменских степей, активизация русской политики на Дальнем Востоке, появление Германии на Тихом океане и создание германской «африканской империи», усиливающийся нажим Австрии на Балканах — все это показатели происходящего в 80-х годах бурными темпами процесса раздела мира между крупнейшими капиталистическими державами. Новое, что несла с собой эпоха, заключалось прежде всего в том, что переживавшая бурное промышленное развитие Германия, усиленная полученной от Франции контрибуцией, выходила из старых границ своей континентальной политики и, стремясь стать морской державой, брала курс на экспансию, на агрессию, на участие в дележе мира,

[1] В. И. Ленин. Соч., XXX, 334.

что, в частности, соединенные силы германского и австрийского капитала начинали развивать свой «Drang nach Osten».

То новое, что несла с собой эпоха, заключалось в том, что и Германия, и Италия, запоздавшие с выходом на колониальную арену, готовы были придать и придали своей внешней политике особую агрессивность, что Германия, о которой Энгельс еще в 1875 г. говорил как об «истинной представительнице милитаризма», «раздувающей» систему милитаризма «сверх всякой меры»,[1] готовилась к тому, чтобы открыть гонку вооружений. То новое, что несла с собою эпоха, заключалось также и в том, что в политике ведущих капиталистических держав — Англии и Франции прежде всего — уже проявлялись симптомы перехода домонополистического капитализма в стадию империализма и финансового капитала, что их политика направлялась теперь не только интересами торгового баланса и вывоза товаров, но и начинавшими выдвигаться на первое место интересами вывоза капитала.

В условиях наступающей новой эпохи империализма создавались и те основные, ведущие противоречия между державами, которые впоследствии определили всю расстановку международных сил: именно в этот период появились зачатки будущих англо-германских противоречий, быстро нарастал русско-германский антагонизм и углублялась и обострялась франко-германская вражда. Но это был длительный исторический процесс. Расстановка сил на международной арене далеко не сразу его отразила.

В развернутой форме все эти противоречия сказались лишь в начале XX в., когда особенно обострилась борьба за новый передел мира.

В рассматриваемое время англо-германские отношения оставались еще в стадии, позволявшей Берлину и Лондону строить различные комбинации возможных союзов и соглашений. Еще казались возможными попытки расширения тройственного союза до пределов четверного с участием Англии и образования англо-австро-итальянской средиземноморской Антанты. Еще не были изжиты англо-русские трения по всему восточному фронту, и на почве африканских дел длинной вереницей тянулись дипломатические конфликты между Францией и Англией. Еще Франция оставалась политически изолированной, а Россия была попрежнему связана дружбой с двумя императорами. Эта дружба была самым крупным фактом, унаследованным Европой от прошлого, живым свидетельством того, что старая система союзов не утратила еще своей силы. Эта дружба была живуча потому, что это был союз монархических государств, заинтересованных в общности действий, в борьбе с революционным движением; потому, что для Германии, по словам Энгельса, «революция в России означала бы падение бисмарковского режима»; потому, что «без России, этой

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XV, 212—213.

огромной резервной армии реакции, господство прусского юнкерства не просуществовало бы ни одного дня».[1]

Эта дружба была живуча и потому, что русский помещичий хлеб продолжал в своей значительной части попрежнему вывозиться в Германию, а среди импортируемых в Россию промышленных товаров главное место продолжали еще занимать товары германские. Эта дружба была живуча также и потому, что свою политику ближневосточной агрессии царь строил при поддержке Бисмарка и что эту политику он проводил, опираясь на берлинскую биржу.

Но время подтачивало незыблемость устоев старой дружбы. Тот союз двух императоров, который Бисмарк создал в системе союза трех императоров, приводил к исключению третьего. Перед Россией вырастал — и это проявлялось на болгарском плацдарме особенно явственно — единый австро-германский фронт. Соединившись с Австрией, Германия готовилась заместить Англию в Константинополе и на Ближнем Востоке. Drang nach Osten начинал давать себя знать. Вместе с тем, если Николай I в свое время считал необходимым оказывать развивающемуся промышленному капиталу поддержку введением протекционных тарифов, тем более должен был это делать Александр III, которому, после «первого шага по пути буржуазного развития», приходилось думать не столько о «выращивании новой буржуазии»,[2] сколько об удержании ее в должных границах. Царская Россия не останавливается перед фактом своей финансовой зависимости от берлинской биржи; она находит в себе силы преодолеть свои политические предубеждения против Франции как исконного очага революции. Это ей тем легче сделать, что вступая в стадию империализма, который нес с собою «реакцию по всей линии при всяких политических порядках»,[3] сама Франция все более утрачивала свои старые качества очага революции. Не без внутренней борьбы, не без политических колебаний — это выразилось прежде всего в переговорах о возобновлении договора 1887 г. — она порывала с Германией. Заинтересованная в создании военно-политического противовеса тройственному союзу, нуждаясь в иностранных капиталах, готовая к тому, чтобы стать поставщиком военной силы и «величайшим резервом западного империализма»,[4] царская Россия искала себе друга в лице Франции.

Входя в полосу ожесточенной борьбы с Германией, стремившейся к тому, чтобы в локализованной войне обессилить свою соперницу на несколько десятков лет, изолированная политически и нуждающаяся в военном союзнике, Франция не могла больше оставаться в одиночестве и шла России навстречу. Испытывая неприятные трения с Англией и Италией в Африке, только что лишившаяся итальян-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 1, 263.
[2] Там же, ч. 2, 30—31.
[3] Ленин. Соч., т. XIX, 169.
[4] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 5, 11-е изд.

ских рынков для своих капиталов и заинтересованная в удобном и надежном месте их приложения, Франция ускоряла шаги. Таков был, как известно, тот общий политический фон, на котором вырисовывался процесс франко-русского сближения, на котором должны получить свое объяснение и все перипетии на несколько лет затянувшихся франко-русских переговоров.

Не поняв ленинской теории империализма, Покровский не дал и не мог дать действительно научного объяснения происхождения франко-русского союза. Образование этого союза Покровский объясняет следующими моментами: 1) русско-германскими трениями в болгарском вопросе; 2) благожелательной позицией, занятой в 1887 г. Францией в вопросе о русской политике в Болгарии (стр. 302—304 и 311); 3) стратегическим положением Франции после 1871 г. (стр. 308); 4) неудачами колониальной политики Жюля Ферри (стр. 310—311).

Неудачи тонкинской экспедиции, хотя и стоившие Ферри политической карьеры, носили временный характер и не могут расцениваться как существенный фактор в деле франко-русского сближения. Хотя Ферри и был вынужден выйти в отставку, французы в конечном счете в своей борьбе с китайцами достигли победы, увенчанной трактатом 1885 г. Рядом военных операций, продолжавшихся с 1885 по 1887 гг., они округлили свои тонкинские владения, завоевали Лаос и начали проникновение в пределы Сиама. Трактаты 1885, 1886 и 1887 гг. не только признавали французский протекторат над китайскими территориями, но и понижали ввозные пошлины и создавали предпосылки для участия французского капитала в предстоявшей постройке китайских железных дорог.[1] Если уж искать стимулов финансового порядка для Франции, их гораздо легче можно найти в ее торговом конфликте с Италией, который закрыл Италию для французских капиталов и совпал по времени с антигерманской полемикой в русской прессе.[2]

Если попытка объяснить происхождение франко-русского союза ссылкой на тонкинскую экспедицию не может быть признана удачной, должна быть также подвергнута сомнению попытка объяснить дело болгарским кризисом: совершенно очевидно, что ответ, данный французами в январе 1887 г. болгарской депутации, и позиция, занятая в этот момент Францией в болгарском вопросе, были лишь следствием изменений французского внешнеполитического курса, лишь симптомом этих изменений, а отнюдь не причиной их. Болгарский кризис содействовал распаду союза трех императоров, ускоряя формирование позиции России. Но позицию, занятую французами в январе 1887 г., нельзя ставить на одну доску с таким фактом, как стратегическое положение Франции, создавшееся после 1871 г. Ограничиться

[1] П. Т. Мун. Империализм и мировая политика, стр. 213—224. Гиз, 1928.
[2] С. Фей. Происхождение мировой войны, стр. 82. Огиз, 1934. См. также Débidour. Histoire diplomatique de l'Europe, 1876—1916, I, 130. Paris, 1917.

в то же время этим стратегическим моментом и игнорировать момент политической изоляции Франции значит, в свою очередь, дать неполное, половинчатое объяснение нового политического курса Франции.

Выбрасывая из своей схемы вопрос о назревающих русско-германских противоречиях на Востоке, игнорируя, далее, вопрос о русско-германской таможенной войне и о внешнеполитической ориентации различных общественных групп царской России, в частности, о той борьбе, какая шла между сторонником германской ориентации, министром иностранных дел Гирсом, с одной стороны, и проповедывавшим союз с Францией Катковым — с другой, Покровский неизбежно приходит к неправильному освещению происхождения франко-русского союза.

Покровский проявляет интерес, главным образом, к вопросу о том, «почему для окончательной формулировки отношений понадобилось еще 3 года времени довольно томительных переговоров» (стр. 313). Вопрос этот стал в центре исследований Покровского далеко не случайно. Поскольку Покровский не дал анализа международной конъюнктуры 80-х годов, поскольку он прошел мимо тех нараставших империалистических противоречий, которые определялись внутренним развитием отдельных стран и которые в этой конъюнктуре были заложены, поскольку из его поля зрения выпал такой кардинального значения факт, как продолжавшееся до 1890 г. действие русско-германского договора и длительные переговоры о его возобновлении, постольку Покровскому остался непонятным и затяжной характер процесса оформления новой дипломатической комбинации. Какое же объяснение дает этой затяжке Покровский? Так как, по его мнению, союз был нужен больше Франции, чем России, «республика должна была представить [царизму] своего рода свидетельство о благонадежности» (стр. 305). Право убежища, которым пользовались во Франции Гартман и Кропоткин, создавали почву для трений между Парижем и Петербургом в течение 80-х годов. Когда русскому послу в Париже Моренгейму стало известно о подготовлявшемся на территории Франции заговоре русских нигилистов, он стал требовать от французских властей выдачи заговорщиков. Французская полиция хотела захватить заговорщиков с поличным, но для этого требовалось время. 29 мая 1890 г. заговорщики были арестованы и преданы суду. «День ареста русских «нигилистов», — пишет Покровский, — сделался одной из самых знаменательных дат в истории русско-французского союза; только с этой минуты окончательно была признана возможной прочная дружба с Францией». Нельзя, разумеется, игнорировать трений, происходивших между Россией и Францией в связи с вопросом о праве убежища, трений, вносивших, несомненно, некоторое охлаждение в новую дружбу. Но сводить затяжной характер переговоров к одному этому факту значит допускать существенное искажение всей истории вопроса, скатываясь к вульгарному, упрощенному пониманию исторического процесса. Зачем понадобилось это Покровскому?

Фиксируя внимание читателя на розыскных операциях французской политической полиции, Покровский показывает контактный образ действий ее с Рачковским и другими агентами охранного отделения. Новый внешнеполитический курс Франции приобретает в этом аспекте значение «измены» принципам 1792 г., принципам революции (стр. 318). Создающийся на чисто полицейской подкладке франко-русский союз вырисовывается перед читателем как реакционная сила.

Других реакционных сил, действующих на международной арене, в своей истории франко-русского союза Покровский нам не дает. Франция же из старой схемы прогрессивной и революционной «Европы» выпала безвозвратно.

Не понимая характера новой эпохи, упуская из виду, что империалистическая, агрессивная австро-германская коалиция не могла быть выразительницей ни «Европы», ни революции, продолжая жить в мире политических понятий и образов первой половины XIX в., Покровский неизбежно шел к историческому оправданию политики одной из тех коалиций, на которые распадался капиталистический мир. Это же толкало его на дальнейшее заведомое искажение исторической действительности.

Не поняв социально-политического смысла эпохи начавшегося процесса перехода домонополистического капитализма в стадию империализма и финансового капитала, извратив характер внешней политики царизма, пройдя мимо тех процессов, которые происходили в эту пору в стране, Покровский вместе с тем не мог понять и того, что финансово-политическая связь царской России с капиталистической Францией не только усиливала приток иностранных капиталов в русскую промышленность, не только содействовала укреплению мощи царизма, но и устанавливала для царской России известную степень зависимости от стран-заимодавцев, создавая предпосылки для превращения ее в полуколонию западноевропейского капитала. Как показал товарищ Сталин, тем самым «интересы царизма и западного империализма сплетались между собой», и царская Россия, где «всесилие капитала сливалось с деспотизмом царизма», становилась «величайшим резервом западного империализма»[1] и вместе с тем «могучим оплотом не только европейской, но и азиатской реакции».[2]

Развитая Покровским концепция истории франко-русского союза с особою выразительностью обнаруживает всю методологическую несостоятельность его исторических построений. По-махистски расправившись с историческими фактами, не отделив главного от второстепенного, он дал искаженное изображение истории союза и извращенное изображение целой эпохи. Покровский писал историю франко-русского союза тогда, когда ленинская теория империализма, как

[1] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 4—5, изд. 11-е.
[2] В. И. Ленин. Соч., IV, 382.

высшей стадии капитализма, капитализма загнивающего и умирающего, еще не была окончательно выработана. Но и тогда, когда эта теория окончательно сложилась, когда правильность этой теории получила свою поверку на практике, и когда развитая Покровским концепция стала выглядеть как карикатура на историю, — Покровский без всяких изменений включил написанный им 15 лет назад очерк в сборник, претендовавший на то, чтобы дать марксистскую историю внешней политики царской России. Непонимание марксова учения об общественно-экономических формациях, непонимание ленинского учения об империализме как высшей стадии капитализма отрезало Покровскому всякий путь к правильному пониманию важнейшего этапа мировой истории.

Царская Россия на Дальнем Востоке

Та роль, которую Дальний Восток играл в системе внешней политики царской России во второй половине XIX в., существенно отличалась от роли Ближнего Востока.

Китайский рынок в своем западном секторе был давно известен русской промышленности и русской торговле. К 40-м — 50-м годам 60% всего русского вывоза по азиатской границе падало на долю Китая,[1] а $^2/_3$ ценности всего русского вывоза в Китай приходилось на долю русских фабричных изделий.[2]

В течение всей первой половины XIX в. русско-китайская торговля шла через пограничную Кяхту, известную русским купцам еще с 1728 г. С конца 30-х годов, с исчезновением польских сукон с кяхтинского рынка, русские сукна занимают там монопольное положение, русское суконное производство начинает жить кяхтинским рынком.

В те же годы начал расти сбыт через Кяхту и русских хлопчатобумажных тканей в Китае. В июне 1842 г. начальник русской духовной миссии в Пекине, предупреждая о растущем ввозе английской и американской мануфактуры в Китай, подчеркивал, что китайский рынок обладает такой емкостью, что спрос на русскую мануфактуру здесь обеспечен.[3]

«Кяхтинская торговля, по своим теперешним оборотам, всеобщему потреблению и обширному развитию, может почесться полезнейшею в России, — писал «Москвитянин» в 1841 г. — Едва ли какая другая торговля россиян может сравняться с нею».[4] «Сношения наши с Китаем учреждены на таком прочном основании, — читаем

[1] Г. Небольсин. Статистическое обозрение внешней торговли, II, 464—465. СПб., 1858.

[2] Краткий очерк возникновения, развития и теперешнего состояния наших торговых с Китаем сношений через Кяхту, стр. 49—50, изд. Кяхтинского купечества, М., 1896.

[3] МИД. Гл. архив, 1—9, № 16, лл. 30—42, 1840. Донесение архим. Поликарпа от 1/VI 1842 г.

[4] Москвитянин, 5, 330—334. 1841.

в одном из номеров «Северной пчелы» за 1839 г., — и взаимные выгоды так уравновешены, что мы никогда не можем ожидать разрыва торговых связей...»[1] Русское правительство, заинтересованное также и крупными таможенными доходами, придавало исключительное значение кяхтинской торговле и окружало торговцев возможными льготами. А когда, в 1839 г., в Петербурге были получены сведения о том, что в Кяхте появился в продаже опиум, привозимый русскими купцами, местным властям была дана директива принять строжайшие меры к искоренению этой торговли, дабы не повторилось то, что случилось в Кантоне с англичанами.[2]

Русско-китайские отношения с начала XIX в. отличались мирным характером. Вопрос о плавании русских по Амуру, неоднократно возникавший в 20-х и 30-х годах, дипломатическим ведомством систематически снимался. Русская военная сила на Дальнем Востоке ограничивалась пятьюстами морских чинов и двумястами казаков в Охотске и на Камчатке.[3]

Но благополучию кяхтинской торговли скоро наступил конец, как наступил конец и миру на Дальнем Востоке. Вывоз английских и американских товаров в Китай возрастал и возрастал темпами, во много раз превышавшими русские. Хотя вывоз этот шел только через Кантон, единственный открытый для европейской торговли порт, он с 825 тыс. франков в годы 1827—1829 поднимается до 22 800 тыс. франков в годы 1837—1839, т. е. за десятилетие увеличивается в 27 раз.[4]

Сбрасывая с себя тесные путы полуфеодальной монополии Ост-Индской компании (1833—1834 гг.), английский капитал стремится пробить широкую брешь в стенах Китая и утвердить в нем свое колониальное господство. Предлог для войны был найден, и в 1839 г. начинается так называемая «опиумная» война, которая, по словам Энгельса, «велась англичанами с зверской жестокостью, вполне соответствовавшей породившей ее контрабандистской жадности».[5]

Нанкинским трактатом 1842 г. и дополнительным соглашением 1843 г. были открыты пять китайских портов для английской торговли, остров Гонконг был превращен в английскую базу в Китае, и было положено начало экстерриториальности иностранцев.

Тотчас после заключения Нанкинского трактата командор американской флотилии в китайских водах по собственной инициативе добился от китайских властей признания за Америкой прав наибольшего благоприятствования. Тогда же, в ноябре 1842 г., французский

---

[1] Северная Пчела, № 225, от 6/X 1839 г.
[2] МИД, Гл. архив, II—3, №, лл. 15—16, 1839—1844.
[3] Русское слово, 329—388, июнь 1859, ст. Д. Романова «Присоединение Амура к России».
[4] Журнал мануфактур и торговли, № 4—5, 270—376, апрель — май 1844 г.
[5] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XI, ч. 1, 160.

министр иностранных дел Гизо говорил Киселеву о том, что Франция также намерена устроить морскую станцию в китайских водах.[1]

Европейский и американский капитал потянулся в разгромленную феодальную империю. Китай становился ареной международной борьбы. Хотя русская крепостническая печать принципиально оправдывала английскую агрессию, характеризуя ее как борьбу цивилизации с «азиатской формой правления»,[2] для русской торговли в Китае эта агрессия несла с собою угрозу предстоящего соперничества и борьбы, каких Россия не знала до этого на Дальнем Востоке. Уже в июне 1843 г. московский гражданский губернатор бил тревогу по поводу приостановки размена товаров на Кяхте во время англо-китайской войны. Он напоминал министру внутренних дел: «Благосостояние Сибирского края и нашей мануфактурной промышленности, в особенности московской, ею (кяхтинской торговлей) преимущественно поддержаны... В таком положении одной из главнейших отраслей нашей торговли я не могу оставаться безмолвным».[3] Тогда же правительство решило ассигновать средства для поддержания кяхтинского купечества, и был учрежден особый комитет по делам русской торговли с Китаем. Меры эти не могли отвратить нависшей опасности. Кяхтинская торговля стала постепенно хиреть. В течение 50-х годов русский вывоз через Кяхту еще держался на уровне 7 млн. руб., к концу же 60-х годов он упал до 2 млн.[4] Иностранные товары прибывали со всех сторон. Они уже появились в Кашгаре. В этом плане еще в середине 40-х годов правительство принимало меры по организации торговой разведки в Кульдже и Чугучаке. В 1844 г. туда был послан чиновник Азиатского департамента Любимов с образцами товаров. Ему пришлось ехать под чужим паспортом в азиатском платье. Он нашел в Кульдже множество мелочных торговцев из Средней Азии, определил рынок Восточного Туркестана как рынок с большими возможностями в будущем, но существующие условия торговли — как неблагоприятные для ее развития: кульджинский амбань советовал ему в европейском платье в Кульджу не приезжать.[5] В 1851 г. в Кульдже и Чугучаке были учреждены русские консульства, и началась небольшая систематическая торговля в этом районе.

Но становилось очевидным, что после большой войны, которую вели морские державы против Китая, ограничиться мероприятиями в области традиционной сухопутной торговли было нельзя. Китай вырастал в крупную международную проблему, разрешение которой требовало активности, мобилизации сил и разнообразия действий.

[1] МИД, Гл. архив, II—3, № 3, лл. 123—124, 1840—1842.
[2] Москвитянин, ч. V, № 9, 247—248, 1842 и № 1, 326, 1843.
[3] МИД, Гл. архив, II—3, № 10, лл. 18—39, 1843. Он предлагал министру принять ряд экстренных мер и, в частности, обязать московских купцов явкой каждые две недели на совещания по вопросу о русско-китайской торговле.
[4] «Краткий очерк...», стр. 72—74.
[5] МИД, Гл. архив, II—3, № 5, лл. 80—92, 1844—1846.

Приходилось думать о рыболовах и китобоях, работавших в районе Берингова и Охотского морей и Камчатского побережья; вспоминать о тех территориях, которые некогда были заняты русскими, затем покинуты по Нерчинскому договору (1689 г.) и теперь могли бы быть полезны в деле приближения к Тихому океану, к тому району, где разгоралась международная борьба; привлекать к делу морского министра; снаряжать (еще в апреле 1843 г.) морскую экспедицию контр-адмирала Путятина в Китай; в 1845/46 г. посылать судно Русско-американской компании к устьям Амура и в 1849—1850 гг. туда же отправлять экспедицию под начальством Невельского и основывать пост Николаевск.[1]

В июне 1852 г. Бруннов писал из Лондона, что англичане проявляют крайнюю подозрительность и беспокойство в связи с экспедицией Путятина и что английское общественное мнение уже живет мыслью о предстоящем падении Китайской империи. «Протяженность этой империи, — успокаивал Бруннов петербургские сферы, — настолько громадна, что всякому есть взять из чего».[2]

Опиумная война, потрясшая до основания Китайскую империю и выявившая всю ее слабость, привела к восстанию китайских крестьянских масс против китайской бюрократии. Начиналась длительная и затяжная гражданская война. Обнаруживалась возможность отпадения Монголии и Манчжурии. Европейские державы заняли выжидательную позицию, с тем чтобы в удобный момент сразу покончить и с революцией и с Китаем как независимой страной. В январе 1854 г. Особый комитет по делам ген.-губернатора Восточной Сибири принял решение завязать тесную дружбу с монголами, сблизиться с манчжурами, не порывая в то же время отношений со старым китайским правительством. Тогда же был утвержден проект Муравьева о посылке водным путем отряда в 700 чел. к устьям Амура и снова снаряжалась миссия Путятина.[3]

Все это представлялось тем более необходимым, что приходилось серьезно думать о возможном нападении на русские дальневосточные владения со стороны Англии, готовившей уже нападение на Черноморское побережье.

Опасения не заставили себя долго ждать, и английский флот скоро, в августе 1854 г., бомбардировал порт Петропавловский. Нападение было отбито. Десант был сброшен в море. Адмирал Прайс застрелился. Но в мае 1855 г. английская эскадра снова появилась у Петропавловска и снова бомбардировала его.[4]

Война, которую вели англичане на Ближнем Востоке, скоро

---

[1] Русское слово, № 6, 329—388; № 7, 93—136 и № 8, 1007—171, 1859.
[2] МИД, Гл. архив, 1—9, № 17, лл. 31—54, 1852—1856. Письмо Брунова от 23/VI 1852 г.
[3] Там же, № 7 лл. 1—36, 1854.
[4] Русский архив, № 8, 393—425, 1878. П. Шумахер. Оборона Камчатки и Восточной Сибири.

кончилась. Но война, которую они начали в 1840 г. на Дальнем Востоке, после некоторого перерыва продолжалась. Она была возобновлена Англией, на этот раз в союзе с Францией, в 1858 г. и повторена в 1860 г. Она закончилась разгромом императорского дворца в Пекине, согласием Китая на доступ в Пекин дипломатических представителей всех иностранных держав и на открытие Китая для иностранной торговли. Борьбу англичан за свободу иностранной торговли в Китае Маркс определял так: «Всякий раз, когда мы пристально присматриваемся к природе британской свободной торговли, в основе ее «свободы» мы почти повсюду видим монополию».[1]

Англия брала на себя роль вершителя судеб Китая. Для царской России, как экономически более слабой и географически более близкой к Китаю, это было чревато особенно крупными последствиями. Действуя своими военно-феодальными методами, используя свое географическое положение, она старалась поспеть за другими. В течение тех нескольких лет, пока державы вели войну с официальным Китаем, они соблюдали нейтралитет по отношению к тайпинам, продолжавшим свою борьбу с манчжурской династией. Но, когда победа над официальным Китаем была одержана и нужные договоры подписаны, державы решили покончить с тайпинами, сменив свой нейтралитет на неприкрытую интервенцию.

Царское правительство шло следом за другими, хотя в первое время ему иногда удавалось опередить своих спутников. В 1856 г. оно входит с китайским правительством в переговоры о посылке в Пекин инструкторов для организации защиты города от инсургентов; за оказание этой услуги Китай должен был сделать уступки в «амурском вопросе.[2] Уже были отправлены 10 тыс. ружей через Кяхту, готовились к отправке 50 пушек большого калибра, и капитан Балюзек с 4 офицерскими чинами был на пути из Нижнего в Иркутск. В марте 1859 г. миссию вернули с пути. Балюзек приехал в Пекин один и там принял участие в переговорах, которые вел Игнатьев с правительством богдыхана. В ноябре 1860 г. обещанные уступки от китайского правительства были получены. Россия получала также все те права, какие уже приобрели европейцы в Китае по договорам, заключенным в 1858 г. в Тяньцзине. Для русской торговли открывался Кашгар и, с некоторыми ограничениями, Урга и Калган. В апреле 1869 г. царское правительство, как известно, произвело временную оккупацию Илийской провинции, которая была впоследствии возвращена Китаю за соответствующие компенсации в области сухопутной торговли.

Еще в марте 1862 г., когда на заседании Особого комитета рассматривался вопрос о совместных действиях русской эскадры с иностранными, было решено в этих действиях участие принимать, но

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XI, ч. 1, 352.
[2] МИД, Гл. архив, 1—9, № 100, 1856.

«иметь в виду, что интересы наши в Китае в большей части случаев совершенно противоречат видам западноевропейских держав, в особенности Англии».[1]

Противоречия были, разумеется, также и между прочими иностранными державами, хотя первоначально они в вопросах раздела Китая работали дружно. В 1862—1863 гг. Франция отрывает от Китая его вассальные владения в Индо-Китае (Кохинхину, Камбоджу). В 1867 г. США приобретают у России Аляску, создавая тем самым для себя опорный пункт на Тихом океане. В 1874 г. Франция устанавливает свой протекторат над Аннамом, в 1883—1885 гг. отвоевывает у Китая провинцию Тонкин и округляет свои владения завоеванием Лаоса. В 1886 г. Англия объявляет вассальное Китаю королевство Бирму присоединенным к Британской Индии. Казалось, Бруннов был прав, говоря о том, что в Китае «всякому есть взять из чего».

Раздел Китая проходил в ту пору без больших споров. Участники дележа относительно мирно уживались друг с другом. 70-е и 80-е годы для иностранных держав были годами освоения добытого и использования Китая как рынка сбыта для своих изделий и как рынка сырья и колониальных товаров. Но именно в этой области царская Россия отставала сильнее других. Это проявлялось не только в том скромном положении, какое занимала Россия в китайском товарообороте в 80-х годах и в продолжающемся ухудшении этого положения по мере приближения к 90-м годам.[2] Это проявлялось и в том «жалком», по выражению Победоносцева,[3] экономическом состоянии, в каком оставались вновь приобретенные территории, в слабой заселенности не только новых, но и старых дальневосточных окраин России. Это проявлялось также и в том, что в обострявшейся между державами борьбе за политическое влияние в Китае и его вассальных владениях царской России приходилось уступать место другим. Нуждавшейся в незамерзающем порте, ей пришлось примириться с тем, что в 1885 г. англичане перехватили у нее остров Гамильтон в Корейских водах. В борьбе за протекторат над богатой портами Кореей пришлось уступить дорогу маленькой соседней Японии. К концу 80-х годов российское министерство иностранных дел пришло к заключению о невозможности проводить успешную активную политику на Дальнем Востоке в виду недостаточности «средств, которыми мы располагаем для обороны наших окраин на Тихом океане».[4] «Положение наше на прибрежье Тихого океана не на-

[1] МИД, Гл. архив, 1—9, лл. 136—138, 1852. Протокол Особого комитета от 8/III 1862 г.

[2] Э. Паркер. Китай, его история, политика и торговля, 238. СПб., 1903; см. также Историк-марксист, № 3, 25, 1934.

[3] Письма Победоносцева к Александру III, I, 248.

[4] Историк-марксист, № 3, 21, 1934. Инструкция Веберу от 25/IV 1885 г.

столько еще обеспечено, чтобы мы могли рассчитывать здесь на какой-либо успех», — писал Гирс русскому поверенному в делах в Сеуле 16 января 1886 г.[1] Вопрос укрепления экономических и политических позиций России на Дальнем Востоке упирался прежде всего в вопрос о преодолении географической оторванности колонии от метрополии. В русских торгово-промышленных кругах били по этому поводу тревогу еще с конца 50-х годов: на страницах журнала «Вестник промышленности» ставится вопрос об организации постоянных морских торговых сношений с Китаем, об организации судоходства по Амуру, о развитии производительных сил Сибири, о систематическом заселении Амурского края и, наконец, о большой русской железной дороге в Китай и к Тихому океану.[2]

Тогда же появляются первые проекты постройки Сибирской ж. д. (1856 г.). После русско-турецкой войны настояния торгово-промышленных кругов становятся особенно сильными. В 1880 г. купечество, торгующее на Нижегородской ярмарке, поддержанное Казанью, Сарапулом, Ирбитом, ходатайствует перед царем о скорейшем сооружении дороги.[3] В 1881 г. Общество для содействия русской промышленности и торговле ходатайствует перед всеми заинтересованными ведомствами о постройке Сибирской ж. д., которая должна быть «базисом» всей сети железных дорог, охватывающей и дальневосточные рынки, от которой должны итти ответвления к Китаю и к Средней Азии.[4] Вопрос о поднятии производительных сил Дальневосточного края, о связи новой колонии с метрополией не сходит со страниц буржуазно-либеральной печати в течение 80-х годов. Помещичьи интересы определяли, как известно, ближневосточную ориентацию внешней политики царизма до конца 80-х годов; в этом же плане шло и железнодорожное строительство в течение предыдущих десятилетий. Экспансия царизма в среднеазиатском направлении равным образом задерживала постановку дальневосточной проблемы в развернутом виде.

Создание Добровольного флота, последовавшее непосредственно после русско-турецкой войны, актуализировавшее вопрос о морских базах на Дальнем Востоке, не разрешало проблемы и только обостряло англо-русскую борьбу. Когда царское правительство приступило к постройке Сибирской ж. д., Япония, с которой оно уже успело в 80-х годах столкнуться в Корее, выходила на путь широкой экспансии на азиатском материке. Японская военная программа уже тогда связывалась с идеей «великой» Японии, которая должна была включить в свой состав и Курильские острова, и Филиппины, и Сахалин, и

[1] Там же, 22.

[2] Вестник промышленности, I, 116—117; II, 48—58; III, 33—63; IV, 41—83, 1859.

[3] Материалы к истории вопроса о Сибирской ж. д., 57—62. СПб., 1896. 87—99.

[4] Труды Общества для содействия промышл. и торговле, XII, 87—99.

Камчатку, и Корею, и Манчжурию, и Монголию, и бо́льшую часть Восточной Сибири. В программу эту уже тогда входил план грандиозного железнодорожного строительства по Корейской и Манчжурской территории вплоть до Пекина. Программа эта уже тогда намечала для Японии «монополию военной силы» в Китае, создавая вместе с тем и необходимые предпосылки для дальнейшего «удобства грабежа». Спровоцировав Китай на конфликт, арестовав корейского короля и заставив 80-летнего отца короля объявить Китаю войну, Япония с 70-тысячной армией выступила на «защиту» Кореи и в восьмимесячный срок заставила Китай признать ее притязания не только на Корею, но и на Южную Манчжурию, на Формозу и на Пескадорские острова.

Характерно, что п. 4 ст. VI Симоносекского договора 1895 г. предусматривал право Японии на создание в открытых портах промышленных предприятий. Это было новостью в истории договорных отношений Китая с иностранными государствами, и это свидетельствовало о новых мотивах колониальной экспансии. Характерно, что японская агрессия встретила теперь решительный отпор со стороны России, Франции и Германии, объединившихся в деле ликвидации Симоносекского договора. «Свободно-захватная» политика, которая осуществлялась в прошлые десятилетия в плане «мирного» сотрудничества между агрессорами, приводила теперь к обострению противоречий между ними. Известно, что Ленин обратил на этот момент особенное внимание, заметив, что «капиталисты Англии, Германии, Франции, России и даже Италии» «сразу ухватили зубами» тот «лакомый кусок», который приготовила себе в Китае Япония.[1] Это было симптомом заканчивавшегося раздела азиатского материка. Это было симптомом того, что совершался «переход от колониальной политики, беспрепятственно расширяемой на не захваченные ни одной капиталистической державой области, к колониальной политике монопольного обладания территорией земли, поделенной до конца».[2] «Будущее расчленение Китая, — писал российский посланник в Японии 8 марта 1895 г., — представляется мне неминуемым последствием нынешних событий; после нынешнего разгрома своего едва ли за Китаем удержится возможность дальнейшего существования».[3]

Перспектива раздела Китая вела к небывалому обострению противоречий между агрессорами. Подготовка раздела шла, как известно, в порядке «аренд» и прямых аннексий, в порядке железнодорожного концессионного строительства, в порядке займов и финансирования Китая. Тотчас за заключением Симоносекского договора был заключен первый крупный заем Китая — франко-русский на сумму 400 млн. франков. С 1896 г. начинается так называемая «битва за концессии», в результате которой Китай был вынужден выдать ино-

[1] В. И. Ленин. Соч., IV, 165.
[2] Там же, XIX, 142.
[3] МИД, Пол. архив Китая, ст. д. № 900.

странцам концессию на постройку 19 железнодорожных линий, общей протяженностью в 6420 миль: 9 дорог строили англичане, 3 — русские, 3 — французы, 2 — немцы и по одной бельгийцы и американцы. На первом месте по длине линий стояли английские дороги, на втором — русские.[1] В феврале 1897 г. Англия исправляет границы Бирмы за счет Китая и получает от последнего обязательства не отчуждать пограничного района третьей державе. В марте того же года Франция добивается от Китая обязательства о неотчуждении острова Хайнаня. В ноябре 1897 г. Германия захватывает бухту Киао-Чао, причем, приобретая концессию на проведение железной дороги Цзинь-дао — Цзинаньфу, вовсе не оговаривает перехода в будущем дороги к Китаю. В феврале 1898 г. Англия получает от Китая обязательство о неотчуждении долины Янцзы.

В марте 1898 г. Китай заключает договор об аренде Германией Киао-чао, тогда же — соглашение об аренде Россией Квантунского полуострова и о проведении Южно-Манчжурской ж. д. Далее Китай заключает ряд последовательных соглашений: в апреле 1898 г. с Францией — о неотчуждении пограничного с Тонкином района и постройке французами Юньнаньской ж. д.; тогда же с Японией — о неотчуждении провинции Фуцзянь; в мае 1898 г. с Францией — об аренде Гуаньчжоу-Вана; в июле 1898 г. с Англией — об аренде Кулуна и Вейхайвея. В апреле 1898 г. Япония заключает соглашение с Россией, которым Корея признается сферой экономического влияния Японии. Наконец, в феврале 1898 г. пробует выступить со своими притязаниями Италия, и в марте того же года расширяется территория международного сеттльмента в Шанхае.

Не приходится пояснять, что борьба за железнодорожные концессии была борьбою за вывоз капитала, что борьба за обязательства о неотчуждении территорий была борьбою за сферы влияния, что борьба за аренды была борьбою за опорные пункты утверждения монопольного господства, что борьба за займы была продолжением той же борьбы за территории и борьбой за влияние в Пекине.

Создававшаяся в Китае обстановка борьбы свидетельствовала о том, что эра свободной конкуренции миновала, что мир вступал в новую эру господства монополии, что происходила смена старого «мирного капитализма» «немирным воинствующим катастрофическим империализмом». Царская Россия входила в эту борьбу на Дальнем Востоке подкрепленная французскими капиталами, но с недостроенной Сибирской дорогой, с относительно незначительными морскими силами, с удаленною на несколько тысяч верст военной базой.

Продолжая стремиться к овладению портами корейского побережья, главною целью своей она ставила утверждение своего монопольного господства в Манчжурии. Непосредственным противником ее и в корейском и в манчжурском вопросе была Япония. Дипломa-

[1] Mongton. The railwat problems in China, p. 39.

тическое поражение Японии в дни Симоносекского мира и вынужденный отказ от достижений войны не изменили соотношения классовых сил внутри страны. Представители политики «монополии военной силы» продолжали оставаться у власти. Пережитые неудачи вызывали настроения реванша в среде господствующих классов и укрепляли военно-захватнические тенденции в политике Японии. Доставшаяся Японии после войны с Китаем контрибуция послужила базой для повышения боевых сил страны. В 1895 г. была принята программа вооружений на сумму в 500 млн. иен. Программа должна была быть реализована в семилетний срок. Государственный бюджет стал военным в полном смысле этого слова. В короткое время японский военный флот стал сильнейшим в водах Тихого океана. Япония доводит численность своей армии до 700 тыс. чел., она создает армию, которая, по словам японского журналиста Шимаде, далеко превосходила потребности защиты японской территории. Армия эта являлась в то же время «английской пехотой» с островов Восходящего солнца. Укреплявшаяся в районе Янцзы Англия не хотела мириться с экспансией России в сторону Манчжурии и с ее приближением к Великой Китайской стене. После японо-китайской войны Англия ставила в своей борьбе с Россией ставку на Японию. Видевший в Манчжурии удобный для себя рынок и расчищавший в Китае пути для своей собственной монополистической политики американский капитал занимал по отношению к русской политике в Манчжурии явно враждебную позицию. Временно в 1900 г. державы объединились для подавления боксерского восстания — стихийного движения китайских народных масс, направленного своим острием против иностранного империализма. Действовавший в Китае концерт иностранных держав скоро распался. Россия выходила из него, чтобы закрепиться в Манчжурии. Относительно благоприятная для России международная конъюнктура на Дальнем Востоке стала к этому времени значительно изменяться к худшему. Англия выходила из бурской войны и развязывала себе руки. Заинтересованная в том, чтобы ослабить силы франко-русского союза, Германия, провокационно толкавшая Россию на Дальний Восток, выступает вместе с тем застрельщиком в деле заключения англо-японского союза, направленного против России. Политика Витте, стремившегося утвердиться в Манчжурии «средствами министерства финансов», встречала решительный отпор со стороны прочих держав и терпела фиаско. Шедшая ей на смену политика Безобразова, политика бутафорской агрессивности на Дальнем Востоке в условиях военной неготовности России, быстро обанкротилась. «Английская пехота» с островов Восходящего солнца готовилась к наступлению.

Таков в общих чертах тот путь, каким в течение второй половины XIX в. шел русский царизм к осуществлению своих целей на Дальнем Востоке, и такова та международная обстановка, в условиях которой он пришел к войне и к военному поражению.

У Покровского вопрос этот получает следующее освещение. От-

крытие дальневосточной проблемы принадлежит ген.-губернатору Восточной Сибири Н. Муравьеву. Дело началось с «завоевания» последним Амура в 1858 г., «хронологически совпавшего», по мнению Покровского, со второй экспедицией Перовского (стр. 356). Завоеванные земли были оставлены Россией в заброшенном состоянии, отчего пришли скоро в мерзость и запустение (стр. 357). В Китае все оставалось по-старому. Он продолжал жить своей самостоятельной жизнью нации-отшельника. Россия, не подозревая о существовании Кяхты, в ту пору «имела дело с Китаем только посредственно, поскольку он являлся соседом со стороны только что завоеванного Туркестана» (стр. 357).

Кульджинский вопрос впервые непосредственно свел царскую дипломатию с Китаем. Но царское правительство не спешило, оставляя китайскую «грушу» «зреть» и «терпеливо дожидаясь, пока она не упадет» (стр. 360). События, решившие участь Китая, начались только в конце 80-х годов. Так как русский капитал потерпел на Балканах фиаско и так как «Европа» сбросила Россию с Балкан, а русское продвижение в Средней Азии после Мерва также было задержано «Европою в образе Англии» (стр. 355), «нужно было выбирать противника по силам». В 1887 г. царское правительство решает предпринять «военно-коммерческую экспедицию» против Китая (стр. 356), т. е. экспедицию, организуемую по типу тех, какие предпринимались в эпоху первоначального накопления. Ряд моментов благоприятствовал первоначально русской агрессии в Китае. К числу этих моментов Покровский относит следующие: 1) «провербиальное отвращение», какое питал китайский народ к войне и насилию (стр. 356); 2) деятельность русских генералов, в прошлом «между собой не сговаривавшихся», действовавших спонтанейно и «бессознательно», но объективно работавших в интересах «крупнокапиталистического предпринимательства» (например, занятие Муравьевым левого берега Амура) (стр. 356—357); 3) отсутствие у России соперников в Китае, поскольку до 80-х годов «Европа», по мнению Покровского, была представлена в Китае только Японией, осуществлявшей там чисто культуртрегерскую миссию (стр. 368).

Япония была главным и единственным препятствием на пути продвижения России в Китае, а главным объектом русско-японской борьбы служила, по мнению Покровского, Корея. Успехи японской политики в Корее Покровский объясняет следующими обстоятельствами: 1) «историческими воспоминаниями о когда-то, триста лет назад, имевшем место завоевании Кореи японцами» и тем фактом, что Япония «первая открыла Корейский полуостров для международной торговли» (стр. 368); 2) «дикостью» корейского населения, питавшего предрассудок о «непобедимости» Кореи, каковой «предрассудок суждено было рассеять японцам» (стр. 368); 3) твердой и решительной позицией японского правительства, для которого «корейский вопрос стал вопросом жизни и смерти» и которое нашло

в себе силы «покончить раз навсегда с юридической фикцией зависимости Кореи от Китая» (стр. 369). Вспыхивающее в 80-х годах в Корее национально-освободительное движение, направленное против Японии, объясняемое Покровским «наивностью и слабой подготовленностью преобразователей», дает возможность русской дипломатии дважды «похитить» у японцев «из-под носу» «плоды их трудов» (стр. 369—370). В противоположность Японии Россия ведет в Китае политику агрессивную и авантюрную. Это явствует, как показывает Покровский, из того, что русская торговля с Китаем носила «ужасающе пассивный характер» (стр. 372). Ведущая, по словам Покровского, борьбу за то, чтобы сделать Манчжурию «крепостным рынком», стремящаяся к насаждению в Китае крепостничества (стр. 373), Россия, при помощи Франции, разыгрывает в 1895 г. в Китае «сцену» из истории Ункиар-Искелесского договора 1833 г. и «в третий раз» лишает японцев «плодов» их «трудов» (стр. 360—361). Преступления, совершавшиеся Россией против японского, корейского и манчжурского народов, долгое время оставались ненаказанными. Только после того, как русско-французский союз, предоставив Китаю 400-миллионный заем, приведший к заключению контракта на постройку КВЖД, показал себя «перед светом» во всей своей «драстической форме» (стр. 362), на сцене появляется возмущенное «общественное мнение европейских колоний Дальнего Востока», справедливо опасающееся, «что дело далеко не ограничивалось железнодорожной концессией» (стр. 363). В связи с этим Германия, — пишет Покровский, — «правильно рассуждая, что немецкие коммерческие интересы в Китае во много раз крупнее русских», «завладела Киао-Чао в свою пользу и после нескольких месяцев воплей со стороны Китая о полном попрании немцами международного права и всех дипломатических приличий, добилась от пекинского правительства арендного договора на Киао-Чао» (стр. 365). Указанные «вопли» представляли собою, согласно Покровскому, не более, как комедию, разыгранную китайскими правящими классами, ибо, по словам Покровского, само «китайское население Шаньдуна... ничего не имело бы против того, чтобы попасть под управление немецкого ген.-губернатора» (стр. 374). После занятия русскими Порт-Артура на сцене появляется Англия, энергично протестующая против паспортной системы, вводимой русскими властями на Квантунском полуострове (стр. 366). Англия, а с нею вместе и США «усваивают себе линию поведения, классическую для буржуазного государства: не стремясь к захвату ни клочка территории... требовать доступа всюду для своих товаров...» (стр. 367). В этом плане, чтобы предохранить Китай от дальнейшей русской агрессии, она занимает Вейхайвей. Франция, согласно Покровскому, не вела активной концессионной политики на юге Китая, и вся роль ее сводилась к тому, что она «стояла за спиной России» (стр. 367). Россия, снова встречающаяся в своей дальневосточной политике с действующей единым фронтом «Европой», как повествует

Покровский, совместно с правительством богдыхана и отчасти при содействии Франции инсценирует «боксерское» восстание, направленное против «иностранных дьяволов» (стр. 374—375). С этой целью в марте 1900 г. между Россией и Китаем заключается специальная конвенция. Натравив китайские народные массы на иностранцев, русская дипломатия проявила всю свою «посредственность» и глупость (стр. 375), не понимая, что ярость китайских народных масс может обрушиться и на русских в Манчжурии. А когда это случилось, она воспользовалась этим для «азиатского завоевания» Манчжурии (стр. 377).

Даже для не искушенного в истории вопроса читателя должно быть ясно, что вся нарисованная Покровским историческая картина представляет собою чудовищное извращение исторической действительности, что изложенную Покровским концепцию не приходится принимать всерьез, что не приходится даже затрачивать время на критику отдельных ее положений. Внимание читателя, проявляющего специальный интерес к вопросам дальневосточной политики царизма, может привлечь только одно указание Покровского — ссылка на заключенную в марте 1900 г. между Китаем и Россией конвенцию по вопросу о совместной организации боксерского восстания против иностранцев.

Необходимо отметить, что утверждение свое Покровский основывает на утверждении А. Улара, автора вышедшей в 1903 г. в Париже книги «Un empire russo-chinoise». Улар, весьма неразборчивый в источниках, в свою очередь основывает свое утверждение на имевшемся в его распоряжении документе неизвестного авторства и неизвестного происхождения. Ни в исторической литературе, ни в архивах ничего даже напоминающего о возможности существования конвенции, подобной той, о которой говорит Улар, найти невозможно. Совершенно очевидно, что здесь мы имеем дело либо с заведомою фальшивкой, либо с неправильным истолкованием одной из попыток сепаратного соглашения России с Китаем о Манчжурии, предпринимавшихся царской дипломатией в годы, последовавшие за ликвидацией боксерского движения.

Развернутая Покровским концепция дальневосточной политики царской России искажает историческую действительность не только потому, что она исходит из ложных предпосылок о том, что агрессия иностранного капитала на Китай началась только в конце 80-х годов и что до того времени в качестве агрессора спорадически выступала только Россия. Концепция эта извращает историческую действительность также и потому, что она исходит из ложной презумпции об отсутствии каких-либо изменений в структуре капитализма на протяжении изучаемого столетия. Продолжая оперировать статистикой торгового баланса и категорией революционной «Европы», не видя новой завязывающейся борьбы за концессии, не понимая смысла и значения новой политики вывоза капитала, закрывая глаза

на входящую в свою последнюю фазу на Дальнем Востоке ожесточенную борьбу за раздел мира и начинающийся его передел, не различая в лице выступающих на дальневосточной арене «великих» держав, типичных для новой эпохи империалистических агрессоров, фиксируя все свое внимание на изобличении методов политики царской России, Покровский приходит к антинаучной, антимарксистской, антиленинской концепции.

Развитая Покровским в гранатовском издании концепция русской политики на Дальнем Востоке не имеет вполне законченного характера. Но та расстановка сил на Дальнем Востоке, какую намечает Покровский, и та политическая оценка, какую он дает сложившимся группировкам, заслуживают того, чтобы обратить на эту сторону дела особое внимание.

Агрессивная Россия вместе со стоящей за ее спиной Францией, с одной стороны, культуртрегерская Япония, олицетворяющая собою «Европу», борющаяся с русским варварством, раскрепощающая Китай, — с другой, помогающие ей в ее борьбе «классически буржуазные» Англия и США и, наконец, по праву действующая, столь желанная для китайских народных масс Германия!.. Старая, заимствованная из эпохи 40-х годов схема, противопоставляющая Россию «революционной Европе», благополучно дожила до 90-х годов и бережно перенесена в отдаленную область Тихого океана. Перенесенная в условия 90-х годов, схема эта, лишенная какого бы то ни было научного значения, объективно приобретает значение оправдания политики японского и германского империализма на Дальнем Востоке.

Завоевание Кавказа

В концепции русской внешней политики XIX в., которую Покровский развил на страницах «Истории России в XIX в.», уделено также некоторое, хотя и очень незначительное место вопросам колониальной политики России в Средней Азии и на Кавказе. Эта политика освещается Покровским в полном отрыве от всей системы внешней политики царизма и от международных отношений эпохи. Главы, посвященные этим вопросам, оказываются органически неувязанными со всем прочим контекстом его истории. Пройти мимо них, конечно, нельзя. Но рассматривать их приходится отдельно, как некоторое дополнение к развитой Покровским концепции.

Завоевание Кавказа Покровский рассматривает как продолжение русских походов в Персию начала XIX в., как вспомогательную стратегическую операцию, предпринятую русским военным командованием в плане русско-персидской вооруженной борьбы (стр. 179). Ставя в центр своего исследования Персию, какою она сложилась к началу XIX в., исследователь тем самым стоит перед задачей дать правильное освещение персидской проблемы в рассматриваемый период. Персия Покровского живет в эту эпоху самостоятельной, изолированной от

внешнего мира жизнью. Шахи Каджарской династии в изображении Покровского знают только одну страну, имеющую с ними внешние сношения, — Россию; они видят только одного агрессора — Россию. Шахи Каджарской династии видят и в лице Англии и в лице Франции только силы, которые привлекаются Персией для помощи в ее борьбе против России. Верны ли эти исходные положения Покровского, основанные на игнорировании международной обстановки, сложившейся к началу XIX в. вокруг персидской проблемы? Нет, не верны.

Известно, что еще задолго до Гудовича и до Цицианова персидским вопросом вплотную интересовались и французы и англичане. Когда Екатерине II, переходившей на ближневосточном театре от обороны к наступлению, удалось в 1783 г. заключить с грузинским царем Ираклием II договор о протекторате, договор этот привел в такое возбуждение французскую дипломатию, что она стала поощрять шаха Ага-Могамеда на реванш, а после разгрома шахскими войсками Тбилиси (в 1795 г.) стала добиваться заключения тесного союза с Ираном. С дипломатическим успехом России в Грузии, как и с активностью французов в Иране, не хотела мириться Англия, недавно утвердившая свое владычество в Индии и стремившаяся к утверждению своего влияния во всех тех районах, которые могли рассматриваться как пути и подступы к Индии. В конце 1799 г. в Иран прибыла миссия Ост-Индской компании под начальством кап. Малькольма, который добился (в начале 1801 г.) заключения с шахом военно-оборонительного союза, направленного прежде всего против Франции.[1] Верно то, что в известный момент шах обратился к Англии за помощью против наступавшей России. Но верно также и то, что Англия потребовала за эту помощь уступки всего побережья Персидского залива, права укрепления Бендер-Бушира, передачи англичанам командования персидскими войсками и крупной контрибуции.[2] Когда в персидских правящих кругах снова возобладала французская ориентация, и Наполеон отправил в Персию свое первое посольство Жобера, последний по прибытии в Баязет был схвачен действовавшими по наущению англичан местными властями и арестован. По франко-персидскому договору 4 мая 1807 г. не только Наполеон обязался содействовать возвращению шаху отошедших от него при Цицианове Грузии и ханств Карабагского, Шекинского и Ширванского, но и Фегх-Али-шах давал, с своей стороны, обязательство прекратить все политические и торговые сношения с Англией и объявить ей немедленно войну, подняв также на войну против Англии и афганцев; шах обязался вместе с тем, в случае похода французских

[1] Русский Вестник, т. 131, ст. Венюкова «Россия и Англия», 462, 1877. См. также П. Риттих, Политико-статистический очерк Персии, 222—224, СПб., 1896.

[2] Lacoin de Vilmorin. La politique étrangère en Perse, 9, 1894.

войск против Индии, пропустить их через свою территорию и открыть для французской эскадры все порты Персидского залива.[1] Заметим, что торговый договор, заключенный между Францией и Персией в следующем, 1808 г., содержит в себе статьи, во многом напоминающие содержание Особого акта Туркменчайского трактата и стремящиеся к утверждению в Персии капитуляционного режима.[2] А после Гюлистанского мира в ноябре 1814 г. Англия заключила с Персией договор, по которому шах обязался объявить уничтоженными все союзы, заключенные с государствами, враждебными Англии, и оказывать вооруженное сопротивление всякой державе, которая будет стремиться к вторжению в Индию через Хиву и Бухару.[3]

Рассматривать русско-иранские отношения начала XIX в. в полном отрыве от русско-турецких отношений того времени, рассматривать русскую политику на Кавказе в полном отрыве от русской ближневосточной политики, от борьбы России за утверждение в водах Черного моря и в проливах и от связанной с нею русско-французской и англо-русской борьбы значит безнадежно сузить проблему, исказить весь тот исторический фон, на котором должен вырисовываться процесс завоевания Кавказа. Известно, какую оценку давал Маркс этому последнему факту. «Эти два дела, — писал он в 1863 г., — подавление польского восстания и завоевание Кавказа — я считаю самыми серьезными историческими событиями со времени 1815 г.[4] Этими словами Маркс напоминал о том, что русскую экспансию в Закавказье следует рассматривать как определенное звено во взаимоотношениях России с европейскими державами. Что же остается от этого вопроса в истории Покровского? «Значение» Кавказской войны было, как мы уже слышали от Покровского, «чисто стратегическое», она «непосредственно вытекала из персидских походов». Горские племена угрожали тылу русской армии, сражавшейся на берегах Аракса. С этими племенами можно было бы войти в соглашение, «столковаться»; препятствием явилась «психология военных людей, действовавших в Закавказье»: «раз дело было начато, честь мундира требовала его окончить» (стр. 180). Верно то, что «Закавказье завоевывала не буржуазная, а еще дворянская Россия» (стр. 184), но что остается от правильного положения, если оно «доказывается» и иллюстрируется фактами, ничего не доказывающими. Ермолов разрабатывает проект присоединения ханства и для ослабления Персии хочет разжечь борьбу вокруг вопроса о престолонаследии (стр. 185). Заметим попутно, что в 1809 г. командующий эскадрой «буржуазной» Англии сэр Джон, приближаясь к берегам

[1] Lacoin de Vilmorin. La politique étrangère en Perse, 9, 1894.
[2] А. Зонненштраль-Пискорский. Международные торговые договоры Персии, 61, М., 1931.
[3] Юзефович. Договоры с Востоком, см. 208. См. также State Papers, I, 261.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XXIII, 188.

Персии с целью изгнания из страны французов, держал на борту своего корабля одного из потомков ранее царствовавшей династии, чтобы, в случае надобности, сделать его орудием борьбы с франкофильским шахским правительством.[1] Смерть хана шекинского дает главнокомандующему основания ввести в ханстве русское управление. Путем провокации поступает в собственность русской казны «вымороченное достояние Карабагской династии» (стр. 187). Солдаты русской армии строят своим генералам усадьбы и дома. Все это факты бесспорные. Но все это свидетельствует о том, что Покровский смешивает «феодальные» цели войны с «феодальными» методами завоевания и описанием явлений производного порядка подменяет анализ реальных интересов и основных целей, какие преследовала царская Россия на Кавказе. Отсюда и вульгаризация в трактовке вопроса. Ограничиваясь описанием этих методов, Покровский игнорирует действительный ход событий. Изображение военных действий приобретает у него характер вампуки.

В социально-политической характеристике Персии и Турции как сюзеренов кавказских народностей Покровский не менее безнадежно запутался: жители отошедших к России ханств, находившихся ранее в вассальной зависимости от шаха, «не могли дождаться, когда же, наконец, оставшиеся свободными братья придут освободить их из русской неволи». Это было в 1817 г. Об этом Покровский рассказывает на стр. 188. Когда персы перешли русскую границу, население этих ханств «встречало их с распростертыми объятиями». Это было в июле 1826 г. Об этом Покровский пишет на стр. 190. А жители Эривани не оказали русским никакого сопротивления. «Не более упорное сопротивление встретили русские войска и в коренных областях Персии, в самом Азербайджане, куда после занятия Эриванского ханства были перенесены военные действия». Это было в летние месяцы 1827 г. И это рассказывается на стр. 193. Мало того — оказывается, что даже коренное население Персии ненавидело Каджарскую династию за ее «грабительскую политику». Что же касается Турции, то Покровский разрешает этот вопрос еще проще: «племенам армянского нагорья в сущности было все равно, кого признать своим сюзереном — турецкого султана или русского императора» (стр. 195). Отмеченные выше вопросы, равно как и то, что азербайджанские армяне были настроены особенно руссофильски, что курды, как и туркмены, не считали себя подданными Персии, что завершившееся в результате русско-персидской войны 1826/27 г. отторжение Эриванского и Нахичеванского ханств от Ирана все же означало создание более благоприятных условий для существования и развития армянского народа, — все эти вопросы об отношении находившихся в зависимости от Персии народов к своему сюзерену Покровский оставляет неосвещенными, спешно прокладывая мостки, — но мостки, сло-

[1] Lacoin de Vilmorin. Op. cit., 17.

женные из гнилых бревен, — к мнимому объяснению вопроса о завоевании Кавказа.

Останавливаясь специально на вопросе о завоевании Северного Кавказа, Покровский не охватывает и этого вопроса во всем его многообразии, не умеет подойти к нему, как к факту определенного международного значения. И здесь также политика царской России сводится в конечном счете к одному моменту — интересам «военной карьеры, везде в других местах закрытой [для царских генералов — *А. П.*] после наполеоновских войн» (стр. 205). Упустив из виду тот факт, что в течение всей русско-персидской войны Англия уплачивала шаху субсидию в 200 тыс. ф. ст., Покровский проглядел и то, что, не говоря уже о Турции, та же Англия не оставалась безучастной свидетельницей действий, развертывавшихся на Северном Кавказе.

Известно, что в 1836 г. на северо-западном Кавказе появляются английские агенты, обещающие горцам помощь английского короля и египетского паши (Логгворт, Белль и др.), что в 1837 г. капитан Маррин и лейтенант Иддо привозят черкесам военные припасы на английском купеческом корабле прямо из Англии. «Когда на Пшаде,— доносил Раевский, — ген. Вельяминов строил укрепление, англичане, окруженные горцами, осматривали с высоты окрестных гор наши работы». За поимку Белля еще в 1837 г. было назначено 3 тыс. рублей. Недаром Головин предлагал в 1838 г. объявить этих английских агентов «вне права народного», и из Петербурга тогда же пришло разрешение «возвысить по ближайшему усмотрению г.-л. Раевского, но не более как до 1000 черв., назначенную за выдачу английских эмиссаров цену, если их представят живыми».[1] То значение, какое имело западное побережье Кавказа в качестве плацдарма для царской России, стремившейся к утверждению своего могущества на Черном море и к овладению проливами, та роль, какую начинало играть восточное побережье Кавказа в плане русской экспансии в Средней Азии, то положение, какое занимал кавказский вопрос в системе англо-русских противоречий, наконец, то значение, какое с известного времени Кавказ приобретал для России как рынок сырья и рынок сбыта, — все это из концепции Покровского выпадает. Что же остается в ней? Построенная не на всестороннем охвате исторической действительности, взятой во всем ее многообразии, а на произвольно выхваченных из этого многообразия фактах второстепенного значения, истолкованных в духе русских анархистов-федералистов середины 70-х годов, концепция эта в конечном счете может быть сведена к следующим положениям: ни в Персии, ни на Кавказе, ни у царской России, ни у каких-либо иных держав никаких реальных интересов не было; страны эти до известного времени представляли собою tabula rasa в международном отношении; открытая царизмом

[1] Акты Кавк. арх. ком., IX, 454—457.

Персия становится объектом его военной агрессии; в качестве защитницы Персии от русской агрессии выступает Англия, играющая роль «Европы» на данном участке; попытка англичан защитить Персию окончилась неудачей, а участь Кавказа решили карьеризм и моральная распущенность русских генералов.

Завоевание Средней Азии

Касаясь однажды вопроса о колониальной политике, проводившейся царской Россией во вторую половину XIX в., Покровский заметил, что «непосредственной целью русской колониальной политики» в эту пору «было то же, что было целью для португальцев и голландцев XVIII в., — простой грабеж». Такая «установка», предрасполагающая исследователя рассматривать историю колониальной политики России как курьезный анахронизм, не могла, естественно, благоприятствовать углубленному изучению политико-экономической экспансии царской России в Средней Азии, исторических корней русской среднеазиатской политики, классового характера ее, тех международных условий, в которых она протекала.

Средней Азии как объекта англо-русской борьбы для Покровского не существует. Не существует для него Средней Азии как арены, где происходила ожесточенная борьба между народами, ее населявшими. Средняя Азия Покровского — это только «географическое понятие», это территория, никому не ведомая и открытая впервые царскими дипломатами, территория, куда в известный момент попали царские генералы, совершившие там ряд уголовно наказуемых деяний. История вопроса в изображении Покровского, в данном случае шедшего в значительной мере по следам представителей английской буржуазной историографии, в кратких чертах такова. В течение всего XIX в. среднеазиатские «рынки прямо брались приступом: покупатель сливался с военнопленным, и боевые генералы непосредственно являлись представителями национального капитализма» (стр. 321). «Военные операции 30-х годов XIX в. были вызваны ближайшим образом заботами об охране торговых караванов» (стр. 324). Такую же цель преследовал, в частности, поход Перовского, который был проведен под флагом «научной» экспедиции (стр. 324). Далее следует длинный ряд походов и экспедиций, которые тянутся, «как звенья одной цепи» (стр. 322). «Основные мотивы, общая обстановка, ближайшие цели у всех экспедиций этого периода вполне аналогичны. Меняется время от времени только интенсивность движения» (стр. 322). После 1839 г. Хива выпала из сферы действий русских генералов, так как до нее «оказывалось трудно добраться» (стр. 325). «Оставалось попробовать» предпринять поход против Коканда. Это было сделано в 1853 г. (стр. 325). Крымская война прервала завоевание Коканда. В 1864 г. походы возобновляются. В результате после взятия Хивы в 1873 г. русская торговля торжествует по всей среднеазиатской территории. Затем следует небольшой

перерыв, и продвижение продолжается. Мотивы продвижения, по Покровскому, теперь несколько меняются. Моменты, связанные с интересами русской торговли, отпадают, и продвижение совершается спонтанно. «Если мы вспомним историю кавказской войны времен Николая Павловича, — поясняет Покровский, —мы не найдем во всем этом ничего нового» (стр. 331). Движущей силой последующего продвижения были «карьерные интересы» русского офицерства, жажда «подвигов». Дело не всегда шло гладко. Скобелев, предпринимающий Ахал-текинскую экспедицию с целью утоления этой жажды, попадает в критическое положение и «охватывается большим беспокойством», когда текинцы собираются выселиться из Денгиль-Тепе — укрепления, которое должно было быть взято приступом русскими. Скобелеву «помогли» «английские агенты», убедившие текинцев «остаться в насиженных ими местах» (стр. 331). Англичане, вообще мало интересовавшиеся русской политикой в Средней Азии и потому проявлявшие исключительное безразличие (кроме небольшой кучки англо-индийского офицерства) в среднеазиатском вопросе, сыграли, однако, в истории вопроса во всех отношениях положительную роль. Они не только «помогали» русскому офицерству в достижении военных наград, но и сумели завоевать такие симпатии к себе среди туземцев, что последние, относившиеся к русским «с нескрываемым неудовольствием и подозрительностью», на англичан смотрели «с нескрываемым сочувствием» (стр. 332). Вообще трудно представить себе, когда была бы утолена, наконец, «жажда» подвигов, которой страдали русские генералы, и когда закончилась бы длинная цепь русских походов и экспедиций, если бы англичане после взятия Мерва, оказав помощь афганцам, не положили бы предела этому ярко выраженному безумию (стр. 334).

Трудно отыскать зерна истины в концепции, основывающейся на неправильных фактических данных и на материалах анекдотического порядка. Ограничимся несколькими замечаниями. То обстоятельство, что русское правительство издавна проявляло, как говорит Покровский, «заботу об охране торговых караванов», свидетельствует о том, что караванная торговля имела место до завоеваний, когда ни среднеазиатские покупатели, ни среднеазиатские продавцы отнюдь не могли быть в положении военнопленных. Бывали случаи, когда заезжавшие в Среднюю Азию русские торговцы действительно оказывались военнопленными, но в таком положении они оставались обычно недолго, и такие случаи были редки, тем более что торговлю вели преимущественно сами туземцы или нанимавшиеся русскими торговыми фирмами татары и казахи в качестве приказчиков. Это объяснялось отчасти тем, что торговцы-мусульмане по закону облагались в среднеазиатских ханствах пошлиной в $2\frac{1}{2}\%$, торговцы же христиане — в два раза большей. Заметим попутно, что на деле пошлинные платежи часто удваивались, утраивались, а иногда и учетверялись.

Известно, что по ценности ввоза русских промышленных товаров в 30—40-х годах Средняя Азия стояла на втором месте после Китая. Что касается русских хлопчатобумажных изделий, то именно Средняя Азия вместе с «Киргизской степью» была главным потребителем их.[1] Чтобы покончить с вопросом о положении покупателей как военнопленных, напомним дополнительно, что за 25-летний период, 1835—1860 гг., товарооборот России со Средней Азией увеличился в 3½ раза. За десятилетие же, 1857—1867 гг., ввоз в Россию из Средней Азии возрос почти в 4.4 раза, а вывоз из нее в среднюю Азию — в 2.14 раза. Это относится к периоду, когда русская торговля в Средней Азии еще не получила «особо привилегированного» положения, и это объяснялось сокращением русского вывоза в Турцию и Персию. Но это же доказывает, что никакого особого «своеобразия» в процессе экономической экспансии России в Средней Азии, принципиально отличавшейся, как это подчеркивает Покровский, от экспансии других капиталистических государств, не было. Констатируя значение среднеазиатского рынка для русской мануфактуры, можем ли мы удовлетвориться объяснением, которое дает Покровский экспедициям царского правительства в Среднюю Азию в период 30—50-х годов? Можем ли мы свести их роль к охране караванов и торговых путей? Нет, не можем. Особый комитет, рассматривавший 11 марта 1839 г. «предположения оренбургского губернатора о поиске на Хиву» и определявший цели, какие должна преследовать проектируемая экспедиция, — на ряду с гарантированием безопасности караванов и освобождением пленных — как особую «важнейшую» цель, намечал: «восстановить и утвердить значение России в Средней Азии, ослабленное долговременной ненаказанностью хивинцев и, в особенности, тем постоянством, с которым английское правительство, во вред нашей промышленности и торговле, стремится к распространению своего господства в тех краях».[2] Реальна ли была угроза распространения английского политического влияния и английской торговли в Средней Азии? Это была вполне реальная угроза, нависшая над Афганистаном еще с начала 30-х годов. Что с этой опасностью царское правительство считалось, явствует из того, что, в ответ на двукратное посещение Кабула (в 1830 и 1836 гг.) Александром Бёрнсом, оно тогда же, в 1836 г., послало для переговоров с Дост-Магомедом прапорщика Виткевича, которому временно удалось повернуть ориентацию Доста в сторону России. Того же порядка явление — участие полковника русской службы Бларамберга в организации предпринятой персами осады Герата и участие полковника английской службы Поттинджера в защите Герата.

---

[1] См. «Гос. русская торговля в разных ее видах» за 1830—1832 гг.; см. также Небольсин, Статистическое обозрение внешней торговли России, II, 465—467.

[2] Серебренников, История завоевания Средней Азии, I, 33—37, 1908.

Однако, когда в 1833 г. оренбургский ген.-губернатор Перовский забил тревогу по поводу начавшегося проникновения английской мануфактуры в Бухару, Нессельроде отнесся к этому делу спокойно и выразил уверенность в том, что рост русского мануфактурного производства является гарантией того, что со временем английские товары будут вытеснены из Бухары.[1] Значит ли это, что дипломатическое ведомство пренебрегало интересами русской торговли? Нет, не значит. В своем отношении Канкрину от 14 апреля 1839 г. Нессельроде между прочим писал: «Споспешествование торговле вообще составляет одну из главных целей наших политических действий в отношении ко всем сим странам и народам Средней Азии», ибо, полагал министр, «торговля сия составляет основу всей нашей азиатской политики».[2]

Заботы о развитии русской среднеазиатской торговли входили составной частью в систему среднеазиатской политики царизма; торговля служила в то же время удобной формой и прикрытием этой политики, но не покрывала собой всех ее целей. Среднеазиатская политика царизма входила составной частью в систему всей его внешней политики. Являлась ли среднеазиатская политика царизма главным и определяющим фактором всей системы его внешней политики? Нет, таким фактором она не являлась. Недаром Бруннов в своей записке, составленной в 1838 г. с целью ввести наследника в круг основных вопросов русской внешней политики, подчеркивал, что турецкий вопрос — «самый важный вопрос европейской политики».[3]

В конце 1838 г. ожесточенная англо-русская борьба в Средней Азии, завязавшаяся вокруг гератского вопроса, заканчивается поспешным отступлением России. Это отступление нельзя не поставить в связь прежде всего с той конъюнктурой, которая складывалась в эту пору на Ближнем Востоке, где Россия под натиском западноевропейских держав теряла свои ункиар-искелесские позиции и где в то же время обострение англо-французских противоречий открывало перед царской дипломатией перспективу создания англо-австро-русского фронта, направленного против Франции. Царское правительство отзывает слишком инициативного Симонича из Тегерана, заменяя его известным своею умеренностью Дюгамелем. Последний склоняет шаха к максимальной уступчивости по отношению к англичанам. Николай I в октябре 1838 г. заверяет Кларендона в том, что русская политика в Средней Азии ни в малейшей степени не направлена против Индии. Англия, готовясь к решительной ликвидации могущества Мехмета-али, ставшего на путях в Индию, и к нажиму на поддерживавшую его Францию, обнаруживает готовность разрешить турецкий вопрос путем сделки с Россией, но для укрепле-

[1] МИД, Гл. архив, II—3, № 6, 1833. Отношение Перовского Родофиникину от 17/VIII 1883 г. и отн. Нессельроде Перовскому от 11/IX 1883 г.
[2] Там же, № 3. 1839.
[3] А. Зайончковский. Восточная война 1853—1856 гг., I, Приложения, стр. 26—111.

ния своих среднеазиатских позиций предпринимает в то же время военную экспедицию в Афганистан. Экспедиция Перовского была ответным шагом царской России на английскую агрессию. Экспедицию эту Особый комитет признавал возможной лишь постольку, поскольку у англичан руки оказывались связанными в афганских делах. В период этих двух встречных экспедиций дипломатические отношения России и Англии, как известно, не прерывались, и дружественные переговоры по ближневосточным делам не прекращались. Экспедиция Перовского оборвалась в начале следующего 1840 г. От первоначальной мысли повторить экспедицию в следующем году Николай I в скором времени отказался. Ход и исход английской экспедиции достаточно ослабили позиции Англии в Средней Азии. России же приходилось спешить с подписанием соглашения по ближневосточным делам, так как создавалась угроза возможности англо-французского сговора. 3/15 июля 1840 г. Россия совместно с Англией и Австрией подписала конвенцию об оказании помощи Турции. Но прежде чем России пришлось подписать конвенцию о проливах (1/13 июля 1841 г.), т. е. окончательно и бесповоротно отказаться от ункиар-искелесских позиций, по инициативе Англии начались переговоры о разграничении сфер влияния в Средней Азии, причем Хива и Бухара рассматривались англичанами как желательная буферная территория.[1]

Из сказанного ясно, что среднеазиатскую политику царизма нельзя понять в отрыве от всей системы его внешней политики. Ясна и порочность отправных позиций Покровского, изображающего Среднюю Азию как область, где царские генералы действовали в полном одиночестве. Правильно ли утверждение Покровского о том, что военная экспедиция Перовского маскировалась флагом научной экспедиции? Это фактически неверно. Прежде чем было принято решение об экспедиции против Хивы, действительно подготовлялась экспедиция с участием представителей Академии Наук к берегам Аральского моря.[2] Правда, экспедиция эта организовывалась также наподобие военной. Но, когда созрело решение предпринять военный «поиск на Хиву», реализация этого решения проводилась не только открыто, но даже имелось в виду придать всему предприятию характер грозной демонстрации. Эта небольшая фактическая ошибка Покровского сигнализирует об одном весьма существенном моменте, им упущенном.

Еще в феврале 1839 г., т. е. за девять месяцев до своего выступления в поход, Перовский выражал надежду на то, что, услышав о подготовляющемся походе, казахи и туркмены поднимутся и сами «разграбят Хиву прежде, чем отряд наш успеет туда дойти».[3]

---

[1] МИД, Гл. архив, I—9, № 14, 1839. Депеша Бруннова, лл. 169—185, 24/XI 1840 г.

[2] Серебренников. Ук. соч., I, 48, 90—97.

[3] Там же, 11—29.

Надежды Перовского были основаны на соображениях о той межнациональной и междуплеменной борьбе, которая развертывалась в ту пору в Средней Азии. Известно, что к концу правления Мохамед-Рахима Хива сбросила с себя зависимость от Бухары и консолидировалась в одно политическое целое, управлявшееся единою властью хана.[1] Тогда же дает о себе знать и военно-политическая экспансия Хивы. В 1832 г. она завоевывает Мерв, подчиняет своему влиянию часть прикаспийских туркмен, а также усть-уртских и сыр-дарьинских «киргиз», ставя им от себя ханов и устраивая на Сыр-дарье крепости. Хивинский хан не довольствуется этим, он хочет расширить пределы своего государства до Эмбы и ведет работу среди киргизов, кочующих к северу от Мугоджар.[2] Аналогичный процесс консолидации переживает Кокандское ханство. В это же время Персия, слабеющая и постепенно теряющая свои старые политические позиции в Средней Азии, продолжает рассматривать освобождающиеся от ее зависимости соседние народы как ей подвластные, но находящиеся «в состоянии мятежа».[3] Она предпринимает карательные экспедиции для укрощения беспокойных туркмен. Казахам приходилось терпеть не только эксплоатацию со стороны русского капитала и органов русской государственной власти: им приходилось сталкиваться и с хивинскими зякетчиками («малоордынцам»), с кокандскими чиновниками («среднеордынцам») и с китайскими амбанями («большеордынцам»). В этих условиях родовая казахская аристократия, получая долю участия во власти и усиливая эксплоатацию широких масс, становилась часто податлива к сделкам с царизмом. То же наблюдалось и у туркмен. Известия о неоднократных, отмечающихся с 60-х годов XVIII в., попытках представителей феодально-родовой туркменской верхушки вступить со своими родами в русское подданство вовсе не относятся к области официальных легенд. Известно, что туркменские роды, которые жили в районе Балханского залива, находились в экономической зависимости от Хивы, получая от нее хлеб, а приатрекские туркмены экономически и политически были связаны с Персией (продажа соли и нефти на персидских рынках, кочевание по обоим берегам Аракса). Недаром Бларамберг, посетивший в 1836 г. вместе с Карелиным восточное побережье Каспийского моря, отмечал, что те налоги и повинности, которыми стремился облагать хивинский хан балханских туркмен, те пограничные трения и конфликты с персами, которые учащались у приатрекских туркмен, приводили к тому, что первые «злобствовали на хана»,

---

[1] Записки Русского географического общества, V, 280. СПб., 1851. Пояснительная записка к карте Аральского моря Я. В. Ханыкова.

[2] МИД, Гл. архив, I—9, № 12, лл. 1—29, 1840. Записка Я. В. Ханыкова, 1840.

[3] Там же, № 7, лл. 186—64, 1834—1844. Записка о Персии в т. II БСЭ, стр. 162.

а вторые «питали врожденную ненависть к персам».[1] Характерен в этой связи и такой факт, как отпадение мервских туркмен от Бухары в 1822 г. и добровольное подчинение их Хиве, которая в дальнейшем неоднократно использовала их в своей борьбе с Персией.[2] Несомненно, что использование ряда туркменских и казахских родов должно было входить в систему и агрессивной политики царизма. Совершенно очевидно, что при игнорировании международной конъюнктуры, складывавшейся в Средней Азии, история завоевания последней не может получить правильного освещения. Правильно ли утверждение Покровского, что после 1839 г. следует длинный ряд походов и экспедиций, причем «основные мотивы, общая обстановка, ближайшие цели» у всех этих экспедиций «вполне аналогичны»? Нет, не правильно. В течение 40-х годов мы имеем ряд небольших военных экспедиций, отправляемых в казахские степи и имеющих своим назначением борьбу с национально-освободительным движением среди казахов. Мы имеем, кроме того, три экспедиции дипломатического характера: Никифорова и Данилевского в 1841 и 1842/43 гг. и Бутенева в 1841 г., причем первые две имели своим назначением Хиву, а последняя — Бухару.

В одинаковой ли обстановке протекали военная экспедиция против Хивы в 1839 г. и дипломатические — 1841 и 1842 гг.? В период экспедиции Перовского английские агенты Шекспир и Аббот были в Хиве господами положения и демонстративно хлопотали перед ханом об освобождении русских пленных. Вместе с тем в ту пору англо-русские отношения в Тегеране достигли крайнего напряжения. В 1842 г. начальник русской миссии Данилевский поддерживает дружественные отношения с английским агентом Томсоном, прибывшим из Тегерана в Хиву, и они вместе хлопочут перед ханом об освобождении персидских пленных.[3] В 1841 г. английские агенты Стоддарт и Конолли содержатся в Бухаре в глубоком колодце, и Бутенев тщетно старается выхлопотать у эмира им жизнь. В то время как русская экспедиция 1842 г. в Хиву увенчалась успехом, и между Россией и Хивой завязались оживленные торговые сношения, русская экспедиция 1841 г. в Бухару окончилась разрывом русско-бухарских сношений на несколько лет, и начальнику миссии Бутеневу приходилось утешать себя мыслью о том, что агрессивные настроения эмира послужат в конечном счете России на пользу, поскольку эмиру удастся разрушить военное могущество Коканда.[4]

Походу на Ак-Мечеть 1853 г. предшествовала энергичная подготовка кокандцев к наступлению на русские укрепления по Сыр-дарье, приезд в Бухару турецких эмиссаров и распространение воззваний

[1] Там же, № 3, лл. 130—135, 1835—1839, рапорт Бларамберга от 31/XII 1836 г.
[2] В. Бартольд. К истории орошения Туркестана, стр. 20.
[3] МИД, Гл. архив, 1—5, № 2, лл. 1—378, 1842.
[4] Там же, 1—5, № 3, лл. 1—507, 1840—1846.

турецкого происхождения с призывом к войне против России.[1] В июне 1854 г. хивинский хан предлагает эмиру бухарскому образование направленного против России тройственного союза под главенством эмира. Предложение это не имело успеха, так как эмир был занят войной с Шахризябсом, а сама Хива отвлекалась туркменским вопросом.[2]

В 50-х годах мы имеем не только поход на Ак-Мечеть, но и военную экспедицию Дандевиля в 1859 г. к юго-восточным берегам Каспийского моря с целью основания там военно-торговой фактории. Проект этой экспедиции особенно поддерживался кавказским начальством, считавшим, что «усиленная деятельность англичан» настоятельно требует «поддержания русского господства на Каспийском море».[3] Специфика конъюнктуры сказывалась и в Тегеране, где Аничков отклонял просьбу шаха о русской помощи в замышляемых им действиях против Герата, status quo которого считалось возможным теперь отстаивать при содействии французского посланника.[4] А в 1857 г., в год восстания сипаев в Индии, в год англо-персидской войны, вызывался в Петербург русский военный агент в Лондоне Игнатьев, который в одной из своих записок по среднеазиатским делам развивал мысль о том, что Средняя Азия является районом, наиболее удобным для действий против Англии.[5] В следующем году Игнатьев был уже во главе посольства в Хиве и затем проследовал в Бухару. Именно, в эту пору (1858 г.), касаясь вопроса о русской агрессии в Средней Азии, Энгельс писал: «С военной точки зрения огромная ценность этих завоеваний заключается в их значении как ядра наступательной оперативной базы против Индии».[6] В 1859 г. Хива стала ареной гражданской войны, и казахи, каракалпаки и туркмены осаждали Кунград. Далее приходили известия об осаде Ташкента «дикокаменными» киргизами и о движении бухарцев к Ходженту (1862 г.).[7] Начиналась бухарококандская война, создававшая исключительно благоприятные условия для агрессии царской России. Словом, и в международном и в международном отношениях Средняя Азия совсем не походила на то серое пятно, каким она вырисовывается у Покровского. Не учтя этих моментов, Покровский не может понять последовательности в военных операциях царской России. Поэтому он отделывается такими общими фразами: «До Хивы оказывалось трудно до-

[1] МИД, Гл. архив, 1—9, № 8, лл. 15—17 и 22. 1852—1868.
[2] Там же, 56—58, ч. 1 лл. 56—58, 1852—1868.
[3] Там же, № 12, лл. 2—31. Донесение Барятинского Милютину 10/XII 1858 г.
[4] Там же, I—1, № 97, лл. 31—38 и 119—122, 1856. Всеподд. докл. мин. ин. дел от 20/III 1856 г. и 1/IX 1856 г.
[5] Миссия в Хиву и Бухару в 1858 г. фл.-ад. полк. Н. Игнатьева. стр. 1—3. СПб., 1897.
[6] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XI, ч. 1, 366.
[7] МИД, Гл. архив, I—9, № 8, ч. II, лл. 1—237, 1852—1868.

браться — оставалось попробовать, не окажется ли доступнее другое из среднеазиатских ханств — Коканд» (стр. 325). На заседании Особого комитета 23 февраля 1863 г. директор Азиатского департамента Ковалевский мотивировал проект движения на Коканд именно сложившейся в Коканде благоприятно для России внутренней обстановкой.[1] Неправильно утверждение, что у бухарского эмира было «созерцательное» отношение к Коканду и что он встрепенулся только после русских побед под Ташкентом (стр. 326). Старый антагонист Коканда, он издавна наступал на Коканд. Не верно и то, будто русское наступление развивалось по принципу случайности, и с Ташкентом не знали, что делать (стр. 347). Временно колебались в вопросе о формах управления Ташкентом. Но еще на записке Катенина от 22 сентября 1858 г., где развивалась мысль о необходимости взятия Ташкента и отправления оттуда «военной экспедиции в самое сердце бухарских владений», Александр II сделал помету: «Я совершенно разделяю его взгляд».[2]

Разумеется, чтобы понять завоевательную политику царизма в Средней Азии в 60-х годах, надо учитывать также и внутреннюю конъюнктуру, складывавшуюся к этому времени в самой царской России, предрасполагавшую военно-феодальные элементы «трубить в трубы войны». Характерна в этом смысле записка, составленная одним из участников среднеазиатских походов ген. Циммерманом в 1861 г., которая, как гласит сделанная на ее полях помета, «произвела в свое время много шуму в военном министерстве». Свои рассуждения, посвященные мысли о необходимости для России продолжать продвижение в Среднюю Азию, автор заключал так: «Беру смелость сделать несколько возражений против мнения, что России не следует делать новых территориальных приобретений. Мнение, что Россия слишком велика пространством, не так уж основательно, как полагают... Если бы при царе Иване Васильевиче IV рассуждали так, что Россия слишком велика и ей не следует расширяться, то Волга и теперь была бы в руках мусульман, и отечество наше было бы маленьким Московским государством, если бы еще успело сохранить свою самостоятельность. Завоевательная политика и постоянное стремление расширить торговые сношения создала величие и могущество Англии. Средняя Азия... непременно оживилась бы после большой экспедиции в Коканд так, как оживится теперь торговля англичан и французов с Китаем после пекинской экспедиции».[3]

В своей истории завоевания Средней Азии Покровский не осветил ни внутренней, ни международной политики, ни тех отношений, какие существовали между среднеазиатскими ханствами.

Если в системе мотивов среднеазиатской агрессии царизма 60-х годов можно нащупывать моменты, связанные с революционной си-

[1] МИД, Гл. архив, 1—9, № 26, лл. 14—16, 37—43, 1863.
[2] Там же, № 8 ч. 1, лл. 2400—262, 1852—1868.
[3] Там же, № 40, лл. 1—18, 1861.

туацией, создававшейся в стране, то и в агрессии, начинающейся с конца 70-х годов, стратегически непосредственно увязывающейся с последствиями русско-турецкой войны, моменты эти дают также себя знать. Недаром И. Аксаков еще в январе 1881 г., после занятия Ахал-Текинского оазиса, отмечая «злорадство» иностранной печати по поводу поднимающейся в России революционной волны, восклицал: «Но... гулом гудит слава русской победы над ахал-текинцами... великое ему (Скобелеву) спасибо за радость, победа была нужна нам — так давно не испытывали мы радостных ощущений».[1] В то время как царская политика на Балканах не выводила русские торгово-промышленные круги из равнодушия, продвижение царизма в Среднюю Азию вызывало в этих кругах целую гамму бурных и радостных переживаний. Это получало свое отражение не только в протоколах участившихся заседаний «Общества для содействия русской промышленности и торговле», не только в появлении на завоевываемых территориях многочисленных фигур предпринимателей, но и в той позиции, какую заняли в этом вопросе известные круги мелкобуржуазной интеллигенции. Декларируя о перемещении восточного вопроса с Балканского полуострова в центральную Азию,[2] они готовы были теперь, в середине 80-х годов, обосновать проводимую в условиях англо-русской борьбы среднеазиатскую агрессию теорией, по которой англо-русская борьба являлась «борьбой между лендлордом и капиталистом, с одной стороны, и русским мужиком — с другой».[3]

Несомненно во всяком случае то, что среднеазиатские завоевания укрепляли царизм политически, так как они шли навстречу интересам русской торгово-промышленной буржуазии, завоевывавшей после 1861 г. новые позиции. Не приходится, разумеется, напоминать о том, что изменение структуры капитала центральной России должно было отражаться на изменении всей системы связей России со среднеазиатскими землями, что продвижение царизма в Среднюю Азию приобретало теперь ярко выраженный характер борьбы за хлопковую базу. Сводя происхождение среднеазиатских походов 80-х годов к карьерным побуждениям, которыми руководилась царская военщина, Покровский не дает по существу никакой истории среднеазиатской политики царизма периода 80-х годов. Анализ мотивов этой политики Покровский подменяет описанием методов завоевания и колониальной эксплоатации, ограничиваясь и здесь задачей «разрушения сантиментального предания», утверждавшего, будто в завоевании русскими Средней Азии «были одни лишь светлые стороны, одно сплошное торжество цивилизации над дикостью» (стр. 329). Мы видели, что в своей трактовке дальневосточного вопроса Покровский особенно подчеркивал цивилизаторскую роль японской агрессии в Корее, характеризуя ее как борьбу японцев с корейской «дикостью». Известны

[1] Русь, № 12 от 31 января 1881 г.
[2] Неделя, № 7, за 1885 г., № 8 и 51 за 1882 г.
[3] С. Южаков. Англо-русская распря. СПб., 1885.

относящиеся еще к 1851 г. слова Энгельса о том, что «господство России играет цивилизующую роль для Черного и Каспийского морей и Центральной Азии».[1]

Покровский несомненно считался с этим положением Энгельса, когда в заключительной части своего изложения признавал, что русский капитал нашел в Средней Азии «еще более примитивные формы экономического быта, чем он сам, и постольку явился в Туркестане прогрессивной силой» (стр. 344—345). Русский капитализм, хотя и в грубых насильственных формах разрушал господствовавшие в средне-азиатских странах средне-вековые общественные отношения, патриархальную замкнутость и втягивал их в мировое товарное обращение.[2]

Известно, что вместе с тем шел процесс превращения Средней Азии в сырьевую базу царской России. Известно, что площадь плантаций американского хлопка Туркестана, насчитывавшая в 1884 г. 300 десятин, расширяется к 1887 г. до 17 тыс. десятин. Вместо 10 тыс. пудов американского хлопчатника, вывезенного из Сырдарьинской области в 1884 г., через 4 года, в 1888 г., было вывезено оттуда 250 тыс. пуд., т. е. в 25 раз больше.[3] Вопросы развития производительных сил края, вопрос о возрастающем значении его для метрополии, вопросы национально-освободительных движений средне-азиатских народов Покровский оставляет без внимания. Забывая о выставленном им самим тезисе о «прогрессивности», главное ударение он делает совсем на другом.

Русский колониальный режим — режим «крови и железа», — говорит Покровский (стр. 338); он превосходит все то, что дала британская политика в Индии (стр. 321); в то же время режим этот приводит, по Покровскому же, к росту производительных сил эксплоатируемого края. Покровский оставляет эти противоречия неразрешенными — они не интересуют его. Мало того, он готов даже подвергнуть сомнению положение о том, что «среднеазиатские народы были экономически и политически слабее русского» (стр. 320). Но главная цель — развенчание старой официальной легенды — казалась достигнутой... Представители русского капитализма пригвождены к позорному столбу олицетворяющими «Европу» представителями капиталистической Англии, перед которыми туземное население не может скрыть охватывающих его восхищения и «сочувствия» (стр. 332).

* * *

История внешней политики царской России XIX в., изложенная Покровским на страницах гранатовского издания, представляет собою ряд отдельных очерков, посвященных отдельным конкретным вопросам

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XXI, 211.
[2] Ленин, Соч., III, 464.
[3] Русский вестник, 334—337, апрель 1890 г.

этой политики. Слабость внутренней органической связи между этими очерками затрудняет выяснение общего характера развитой здесь Покровским концепции. Каждый из этих очерков заключает в себе большой исторический материал и не менее значительную долю элементов фантастики. Каждый из этих очерков, фиксируя внимание читателя на методах действий старой русской дипломатии и на методах действий старой русской военщины, в качестве своего лейтмотива имеет одну общую тему — тему о глупости и ограниченности этой дипломатии и о порочности и бездарности этой военщины. Ни подлинной дипломатической, ни подлинной военной борьбы, какую вела царская Россия на международной арене, Покровский читателю не дает. Покровский забывает и о том, что часто на полях битв невежество и бездарность царских генералов искупались стойкостью и героизмом русских солдат. Покровский забывает и о том, что русская дипломатия, по словам Энгельса, «сделала больше, чем все русские армии, чтобы расширить границы России», что «это она сделала Россию великой, могущественной, внушающей страх, и открыла ей путь к мировому господству».[1] Ненаучным описанием методов внешней политики царской России Покровский подменяет в своих очерках научное марксистское объяснение этой политики.

Взятые в совокупности, все эти очерки, посвященные истории внешней политики России XIX в., т. е. тому периоду, в течение которого территория царской России увеличилась на целую треть, написаны, в конечном счете, на тему о том, как в результате своего дипломатического и военного бессилия Россия превратилась в $^1/_6$ часть мира. Отмеченные выше формальные особенности данной работы Покровского дают основания заключать о парадоксальности всей концепции Покровского, парадоксальности, коренящейся в его методологических установках. Парадоксальность эта является следствием недиалектического, антимарксистского, антиленинского подхода Покровского к объекту своего исследования. Трудно говорить об определенном методе исследования, последовательно проводимом Покровским на протяжении всей работы. Элементы экономического материализма (например, в трактовке наполеоновской войны, болгарской политики) переплетаются здесь с элементами вульгарного психологизма (например, в трактовке эпохи Священного союза, войны 1853—1856 гг., персидских и среднеазиатских походов), с элементами идеалистического толкования исторических фактов (например, в трактовке восточной политики Николая I, 1848 г., периода 1856—1877 гг.). Не вооруженный марксистско-ленинской методологией, не освоивший в достаточной мере того конкретного исторического материала, который должен был стать объектом его работы, Покровский не вышел в своих очерках за пределы обличительной исторической публицистики, мелкобуржуазной по своей классовой сущности. Не раз мы

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, XVI, ч. 2, 7.

имели случай убедиться в том, как Покровский отправляется от положений, развивавшихся в старой мелкобуржуазной публицистике, подменяя ими научный анализ вопроса. Не легко определить степень влияния буржуазной западно-европейской историографии на отдельные стороны концепции Покровского, поскольку он не имеет обыкновения ссылаться на источники. Однако мы не раз имели случай убедиться и в том, как Покровский некритически воспроизводит концепции, заимствованные из буржуазной западноевропейской историографии и публицистики. Влияние это особенно заметно проявляется в трактовке 1812 г., Священного союза, происхождения крымской войны, истории Лондонской конвенции 1871 г., войны 1877—1878 гг., дальневосточной и среднеазиатской политики царской России.

Попытаемся, насколько это возможно в отношении ряда не связанных достаточно крепкой внутренней связью историко-публицистических очерков, определить заключающиеся в них основные элементы концепции Покровского, его общих взглядов на историю внешней политики царской России XIX в. Сделаем это путем резюмирования основных положений отдельных очерков.

Порвавшая со своим историческим прошлым и о нем позабывшая, Россия Александра I, как колония Англии, в качестве английской наемницы, предпринимает, по мнению Покровского, наступательную войну против обороняющегося методом вторжения на русскую территорию Наполеона и далее становится «вершительницей судеб Европы». Носительница принципов феодальной реакции, Россия последовательно проводит политику легитимизма наперекор всей «Европе», действующей единым фронтом с участием Меттерниха, в некоторых случаях также турецкого султана и его египетского вассала. Бессильная бороться с русским агрессором, «революционная Европа», с Меттернихом включительно, попадает в систему Священного союза и, примирившись с новыми бытовыми условиями, начинает жить жизнью тихого семейства и этот образ жизни продолжает вести вплоть до 1848 г. По временам (Тильзит, греческие дела, Наварин) «Европе» удается отвлечь русскую реакцию «игрушкой» восточного вопроса, но обычно Россия скоро бросает «игрушку» и возвращается к борьбе за принципы легитимизма. Во второй половине 30-х годов Англия сумела настолько удачно подбросить России игрушку восточного вопроса, что Россия, приступив к разрешению его в союзе с Англией, снова превратилась в колонию последней.

К 1848—1849 г. Россия возвращается к своим старым занятиям, вступая снова в борьбу с «Европой» en bloc. Благодаря ряду случайностей и взаимных непониманий, главным же образом благодаря мстительному характеру Николая I, вспыхивает Крымская война. Несмотря на последовавшее в результате войны полное истощение сил, царская Россия и во второй половине XIX в. продолжает играть

роль подобия гегемона Европы, борющегося за принципы легитимизма. Бисмарку, действующему в тайном союзе со славянофилами, удается отвлечь от Европы нависшую над ней русскую опасность и увлечь царскую Россию турецким вопросом. Отвлекшись, вопреки своему желанию, к этому участку, царская Россия и здесь попрежнему продолжает свою борьбу за принципы легитимизма. Начатая в связи с традиционным бессарабским вопросом война с Турцией в результате ряда понесенных царизмом поражений заканчивается ликвидацией турецкой армии, после чего царская Россия временно задерживается в Болгарии. Русские металлурги не дают царизму возможности выбраться из болгарского тупика. Царизм продолжает, однако, и здесь вести борьбу с революционной «Европой», выступающей в лице соединенных сил Австрии и Германии. После болгарских неудач царизм заключает полицейский союз с Францией, совершающей измену принципам революции и выпадающей из системы «Европы». Русско-французская реакция продолжает борьбу с «революционной Европой» в лице Японии и союзной с ней Англией на Дальнем Востоке.

Время от времени на территориях, выходящих из поля зрения «революционной Европы» (Персия, Кавказ, Средняя Азия), русские генералы по соображениям карьеры предпринимают военные действия. Они действуют вразброд и наудачу, занимаясь преимущественно грабежами. Царская Россия входит, таким образом, в XX век разросшейся до пределов $^1/_6$ части земного шара. Борьба с «революционной Европой» продолжается, принимая формы борьбы с австро-итало-германской коалицией на Западе и с Японией на Дальнем Востоке.

Таков скелет концепции Покровского. Быть может, он выражен нами в несколько гротескной форме. Трудно, однако, дать иное выражение существу концепции, которая основана на упрощенческом, вульгаризаторском подходе к исторической действительности.

Мы уже говорили, что, касаясь вопроса о том, как марксист должен подходить к изучению войны, Ленин требовал — и это требование приложимо к изучению всех фактов международной борьбы — умения определить, «из-за чего эта война ведется, какими классами она подготовлялась и направлялась».[1] Не ограничиваясь этим, Ленин требовал рассматривать данную войну как «продолжение средствами насилия той политики, которую вели господствующие классы воюющих держав задолго до войны».[2] Наконец, Ленин требовал подходить к каждому конкретному факту международной борьбы, отдавая себе ясный отчет в том, какова «политика европейских держав в целом», отдавая себе ясный отчет во «всей политике всей системы европейских государств в их экономическом и политическом взаимоотношении».[3] «Действительная политика обеих групп величайших капиталистических гигантов..., — писал Ленин по поводу изучения империали-

[1] В. И. Ленин. Соч., XXX, 332.
[2] Там же, XIX, 50.
[3] Там же, XXX, 334.

стической войны, — эта политика за целый ряд десятилетий до войны должна быть изучена и понята в ее целом. Если бы мы этого не сделали, мы не только бы забыли основное требование научного социализма и всякой общественной науки вообще, — мы лишили бы себя возможности понять что бы то ни было в современной войне».[1]

Покровский строил свою концепцию внешней политики царской России XIX в. без учета реальных классовых интересов царского правительства. Покровский подходил к фактам международной борьбы без изучения исторических корней этой борьбы. Покровский давал историю внешней политики царской России, не вскрывая классового характера политики ее контрагентов, пренебрегая анализом международной конъюнктуры. Поэтому из поля зрения Покровского выпал основной стержневой вопрос царской внешней политики — восточный вопрос. Поэтому из его поля зрения выпало значение польского вопроса в системе контрреволюционной политики царизма. Поэтому царская Россия в первой половине XIX в. из действительного «жандарма Европы» превратилась у Покровского в ряженого жандарма. Не учтя классового характера политики держав, которые составляли «Европу», не поняв классовой ограниченности их политики, сбросив со счетов роль Меттерниха как одного из вождей феодальной реакции, Покровский дал в своем историческом построении не реальную Европу, переживавшую процесс буржуазных революций, но полную внутренних противоречий, а Европу призрачную, наделив ее мнимыми качествами. Вся международная арена первой половины XIX в. от Венского конгресса до Севастополя превращена Покровским в цирковую арену, где ряженый жандарм борется с призраком революции, получая пощечины как доказательство своей глупости.

Ленин требовал при подходе к каждому конкретному факту международной борьбы исходить из правильного понимания данной эпохи. «Чтобы понять, — писал он, — почему между великими державами, многие из которых стояли в 1789—1871 гг. во главе борьбы за демократию, могла и должна была возникнуть империалистская война, т. е. по ее политическому значению самая реакционная, антидемократическая, чтобы понять это, надо понять общие условия империалистской эпохи, т. е. превращения капитализма передовых стран в империализм».[2]

Не поняв тех структурных изменений, какие происходили в системе мирового капитализма в последней четверти XIX в., не поняв социально-экономического характера наступающей новой эры — империализма, не поняв действительных мотивов внешней и внутренней политики капиталистических государств в эту эпоху, Покровский продолжал архаический образ «Европы» противопоставлять царской России, которая уже была накануне революции. Не понимая того, что наступление новой империалистической эры чревато пролетарскими

[1] Там же, 335.
[2] Там же, XIX, 201—202.

революциями, продолжая играть старыми понятиями и образами, не видя в России ничего, кроме царя с его одряхлевшими дипломатами, упуская из виду поднимающийся новый класс, ведущий за собой крестьянство и порабощенные народы, — Покровский приходил к историческому оправданию всякой агрессии, идущей со стороны всех тех стран, которые в тот или иной момент в том или ином районе сталкивались с царской Россией. Покровский приходил тем самым к утверждению тезиса об исторической прогрессивности империалистической австро-итало-германской коалиции, об исторической прогрессивности империалистической политики Японии на Дальнем Востоке.

Ненаучная, антимарксистская историческая концепция Покровского, развитая на страницах гранатовского издания, построенная частью на повторении архаических положений идеологов русского мелкобуржуазного радикализма, частью на некритическом воспроизведении старых руссофобских положений западноевропейской буржуазной историографии, является не только ошибочной и вредной теоретически, но и ошибочной и вредной политически.

II. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЦАРСКОЙ РОССИИ В „ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН“ [1]

Внешняя политика первой половины XIX в.

В своей «Истории России с древнейших времен» Покровский не дает внешней политики царской России. Он преследует здесь цель — «охарактеризовать» эту политику «экономически» (стр. 303).

Фактического конкретно-исторического материала здесь не много. Такие узловые моменты русской внешней политики XIX в., как образование Священного союза и подавление венгерской революции в 1849 г., выпадают из истории Покровского. Действия живых людей мало интересуют Покровского. Деятельность же тех немногих из них, которые появляются на страницах его истории, носит случайный и несамостоятельный характер. Александр I в своих польских делах оказывается подражателем Зубатова, а во всей внешней политике первых годов своего царствования — орудием в руках Чарторыйского (стр. 164—169). Когда Чарторыйский сходит со сцены, внешняя политика России быстро свертывается. События начинают развиваться только в плоскости экономики. Уже зародившийся в начале столетия англо-русский союз являлся «экономической необходимостью». Это выражалось в том, что англичане подкупали русских сановников и добились успеха. На смену этому союзу является Тильзит: он был

[1] Для высказываний Покровского, относящихся к периоду александровского царствования, указываются страницы III тома его «Истории России с древнейших времен» (изд. 1933 г.). Для высказываний, относящихся к последующим периодам, — страницы V тома «Истории России с древнейших времен» (2-е изд. Тов. «Мир»).

вызван тем, что своим русским наемникам англичане перестали «платить». Далее наступает разрыв России с наполеоновской Францией: это происходит вследствие недовольства дворянства, так как русские «офицеры на время походов освобождались от обязанности платить долги» (там же).

Внешняя политика России того времени развивалась у Покровского не только в результате столкновения подобного рода карманных интересов различных групп населения. В качестве движущих сил исторического процесса скоро появляются экономические категории. История становится борьбой экономических категорий. Это случилось уже во время выхода России из континентальной блокады.

Касаясь вопроса о социально-экономическом характере проектов Сперанского, Покровский писал: «Суть дела была прямо во внешней политике — дружба или, напротив, разрыв с Наполеоном, а косвенно — в экономических отношениях. Спор шел между промышленным и аграрным капитализмом: первому блокада была на руку, для второго в ней заключалась гибель. Сперанский был на стороне первого...» (стр. 180). Цитата чрезвычайно важная, дающая объяснение всему. Становится ясным: проблема русско-французской борьбы сводилась к проблеме борьбы русского «промышленного капитализма» с русским «аграрным капитализмом».

Победа «промышленного капитализма» привела Россию к Тильзиту; победа «аграрного капитализма» вывела ее из Тильзита. В результате этих же последовательных побед и поражений на историческом экране появляется и исчезает тень Сперанского, совершается поворот внешней политики Александра, и по существу происходят все те исторические события, какие имели место в изучаемый период.

Пущенные Покровским в действие экономические категории призваны объяснить все. Проверим их действие на конкретном примере. Как объяснить ими такой факт экономической политики, как выработку таможенного тарифа 1810 г.? Согласно Покровскому, тариф был выработан представителем «промышленного капитализма» Сперанским; тариф означал, по словам Покровского, объявление таможенной войны Франции, следовательно вел к разрыву с нею, следовательно, отвечая, согласно Покровскому, интересам русского «аграрного капитализма», противоречил интересам русского «промышленного капитализма». Одно из двух — скажет читатель: или требует каких-то коррективов утверждение, что Сперанский был представителем «промышленного капитализма», или требует каких-то коррективов положение о том, что тариф преследовал цель разрыва с Францией в интересах «аграрного капитализма». Несомненно, что требуют определенных коррективов оба положения: политика Сперанского не только в известных своих проявлениях объективно отвечала интересам нарождавшегося промышленного капитала, но и должна была находиться в соответствии с интересами бюрократического аппарата самодержавия и в основном шла навстречу интересам определенных кругов

прогрессивного дворянства. Тариф вводился не по особому настоянию представителей «аграрного капитализма» и не преследовал специальной цели удовлетворения интересов «промышленного капитализма», а призван был прежде всего служить интересам фиска и повышению торгового баланса.

Можно ли доказывать, как это делает Покровский, ссылкой на действия русского «промышленного капитализма», выпускаемого им в 1810 г. на мировую арену, тезис об «оборонительном» для наполеоновской Франции характере войны 1812 г., тезис, основанный на игнорировании захватнического характера наполеоновских войн и отрицающий факт «нашествия» Наполеона на Россию (стр. 188—190)? Разумеется, было бы только желание, — аргументы найдутся. И этот тезис можно выдвигать с таким же успехом, с каким можно было бы утверждать, что во время покушения на Павла I не последний защищался от нападавших на него заговорщиков, а ущемленные в своих классовых интересах дворяне-заговорщики оборонялись от Павла, и что не Александр сослал в восточные губернии Сперанского, а Сперанский как представитель развивавшего свое наступление (тариф 1810 г.!) русского промышленного капитала сделал Александра узником промышленного капитала Англии.

Первый опыт объяснения исторических явлений ссылкой на борьбу экономических категорий, первая попытка свести факты внешней политики непосредственно к экономике оказались не слишком удачными. Постараемся выяснить, к каким результатам приходит Покровский в процессе дальнейшего применения тех же опытов.

Уже на первых страницах истории Покровского, изложенной в гранатовском издании, Россия, как мы видели, вступила в борьбу с Наполеоном, как колония Англии. На Венском конгрессе, как мы знаем, Александр уже выступает в роли «вершителя судеб Европы». Выход России из положения колониальной страны и превращение ее в «гегемона» Европы совершается, таким образом, с исключительной быстротой — приблизительно на протяжении одного года. Явление это не получает у Покровского исчерпывающего объяснения также и на страницах его «Истории России с древнейших времен». Только теперь становится ясным, что свой тезис о России начала XIX в. как колонии Англии Покровский основывал исключительно на том положении, какое занимала тогда Англия в системе русской внешней торговли.

Статистика русского ввоза и вывоза с неопровержимостью устанавливает тот факт, что в период екатерининского и павловского царствований из России вывозилось преимущественно сырье и отчасти полуобработанные изделия, что вывозимые льняные и пеньковые изделия составляли лишь половину товарного льняного и пенькового сырья, что о вывозе из России хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тканей не могло быть речи и что они ввозились в Россию. Те же данные говорят нам о том, что русский вывоз в пре-

обладающей своей части шел в Англию, а ввоз в Россию—из Англии.[1] Эти статистические данные, сохранившие свою силу к началу александровского царствования, и привели Покровского ко взгляду на Россию того времени как на колонию Англии.

Известно, что экономическая отсталость страны и создающаяся на этой основе возможность эксплоатации ее как рынка сырья другой страной, экономически более развитой, является часто встречающейся предпосылкой для превращения данной страны в положение колонии. Известно, что это — условие, благоприятное для такого превращения, но не единственное и даже не всегда необходимое. Англия превращала в свою колонию Индию, насильственно убивая в ней развивавшуюся промышленность посредством запрета ввоза машин, обложения высокою пошлиной орудий производства, посредством системы налогов, приводившей страну к обнищанию. В середине XVIII в. в своих торговых сношениях с Китаем Россия выступала, главным образом, как поставщик «мягкой рухляди», а покупала в Китае шелковые и бумажные ткани.[2] Колонией Китая Россия, однако, не была. Губернии Царства Польского из всех губерний царской России являлись наиболее развитыми в индустриальном отношении, но само Царство не приобретало от того значения метрополии для России. В течение XVIII в. экономическая связь России с Англией была так же сильна, как и в начале XIX в. При Екатерине, когда на целый ряд индустриальных товаров были введены высокие пошлины, англичанам были предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин, и они сохранили за собою преобладающее положение во внешней торговле России. Но в период англо-американской войны и охлаждения англо-русской дружбы Россия заключала торговые договоры с Австрией, Францией и Данией; англо-русский торговый договор 1767 г. по истечении 20-летнего срока возобновлен не был, и такое положение продолжалось до 29 марта 1793 г., когда Екатерина запретила вывоз продовольственных товаров в революционную Францию.[3]

Известно, что в первой четверти XIX в. русский крестьянин умел обходиться без хлопчатобумажных тканей, в то время как Англия и США без ввозимых из России льняных и пеньковых тканей обойтись не могли; в результате вывоз их из России составлял солидную по тому времени цифру, 3.1 млн. руб. серебром, и только к концу 40-х годов, когда страны-импортеры стали выделывать у себя полотна и равендук, вывоз этот упал до 1.5 млн.[4] Но было бы бессмыслицей, если бы мы, следуя методу Покровского, стали на этом основании говорить об освобождении в конце 40-х годов Англии

[1] В. Покровский. Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России, т. I, стр. XXVI—XXVIII. СПб., 1902.

[2] Семенов. Изучение российской внешней торговли и промышленности, III, 199.

[3] В. Покровский. Ук. соч., т. I, стр. XXVI—XXVIII.

[4] Там же.

и США от колониальной зависимости от России. В 1814—1815 гг. привоз мануфактурных изделий в Россию определялся цифрой 1.4 млн. руб. сер., а вывоз их — цифрой в 6.1 млн.; в 1820—1825 гг. привоз мануфактурных товаров в Россию возрос до 16.6 млн., а вывоз их снизился до 4 млн. Но было бы бессмыслицей, если бы, следуя методу Покровского, мы стали на этом основании говорить о том, что Агамемнон Европы опускался во второй половине 20-х годов до положения колониального раба. Впрочем, об этом не говорит и Покровский, у которого Агамемнон вскоре после Венского конгресса превращается в царя промышленной буржуазии.

К историческим фактам Ленин требовал подходить с «точным учетом исторически-конкретной и прежде всего экономической обстановки».[1] К фактам войны Ленин требовал подходить с учетом «совокупности данных об основах хозяйственной жизни всех воюющих держав и всего мира». Он требовал, как известно, «анализа объективного положения командующих классов во всех воюющих державах», подчеркивая необходимость брать «не примеры и не отдельные данные», — ибо «при громадной сложности явлений общественной жизни можно всегда подыскать любое количество примеров или отдельных данных в подтверждение любого положения», — а непременно исходить из совокупности этих данных.[2] Несомненно, что это требование Ленина сохраняет свою силу при изучении всех фактов внешней политики.

В вопросе об определении характера англо-русских отношений начала XIX в. у Покровского наметилась, как мы видели, тенденция сводить факты внешней политики непосредственно к экономической основе, причем роль этой «основы» играло у него положение товарооборота двух стран в данный момент. Такая тенденция заключала в себе опасность свести объяснение исторических событий к игре понятиями и терминами. Выдвинутый Покровским тезис о колониальной зависимости России от Англии ему пришлось дополнить далее тезисом о головокружительном превращении Агамемнона из колониального раба в царя промышленного капитала и в империалистического агрессора.

Как мыслил себе Покровский процесс этого превращения и какие выводы делал он из этого факта?

Ход мысли Покровского был таков.

Падение хлебных цен в Западной Европе в 20-х годах вызывает катастрофу на русском хлебном рынке и «застойность русского сельского хозяйства». Из этого факта, «в силу неотвратимых объективных условий», вытекал «катастрофический» подъем в русской прядильной и ткацкой промышленности и «появление промышленного капитализма в России» (стр. 8—11).[3] Последнее «дало тотчас отражение во

[1] В. И. Ленин. Соч., XXV, 286.
[2] Там же, XIX, 74.
[3] «История России с древнейших времен», изд. 2-е, т. V.

внешней политике» (стр. 11). «Крупное землевладение» в лице Николая I «нашло для себя выгодным вступить в союз с буржуазией». Николай I «начинает «ласкать» купечество» (стр. 13). Союз буржуазии с царской монархией получает свое выражение еще при Александре I в протекционном тарифе 1822 г. Тариф не коснулся Закавказья, но это было только «подарком местной, преимущественно армянской буржуазии» (стр. 21). Завязавшаяся вокруг вопроса о закавказском тарифе борьба была борьбой русского торгового капитала с промышленным, причем в качестве представителей первого выступали одесские и кавказские власти, а в качестве делегата промышленной буржуазии — глава финансового ведомства (стр. 23). «В междуведомственной борьбе победа осталась за капиталом промышленным». «В борьбе международной результат получился иной»: русская внешняя политика, проводившаяся в интересах промышленного капитала, привела к «Севастополю», иными словами — к торжеству торгового капитала. Внешнеполитические акции промышленного капитала таковы: война с Персией 1826/28 г., война с Турцией 1828/29 г., политика царизма в Румынии, Сербии, Черногории, Греции, Египте, заключениеУнкиар-Искелесского договора (стр. 24—25), русская экспансия в Персии (стр. 21), борьба за побережье северо-востока и северо-запада Кавказа, появление русских в Афганистане, военная агрессия в Средней Азии (стр. 30) и, наконец, подготовка новой «отпумной» войны с Англией на Дальнем Востоке (стр. 30).

Поскольку вся внешняя политика царской России оказывалась, таким образом, делом рук русского промышленного капитала, последний не мог не притти в столкновение с английским. Низкие цены на хлеб благоприятствовали твердости позиций Англии, не нуждающейся больше в русском хлебе (стр. 30). Начало англо-русской борьбы Покровский относит к 1833 г. Это была «неожиданная ссора двух держав, дружба которых была недавно скреплена совместной работой в греческих делах» (стр. 27). Англия не может примириться ни с перспективой покорения Египта Россией, ни с русским промышленным протекционизмом на побережье северо-западного Кавказа, ни с намерением России захватить Трапезунд. Она не может равнодушно смотреть на подготовляемое Россией покушение на целость и неприкосновенность Индии, на появление русских в Афганистане и на поход Перовского. «С этой поры и до самого Севастополя война носится в воздухе». Повсюду, по всему фронту международной борьбы, «в роли наступающей стороны являлась Россия, англичане лишь отстаивали [свои] позиции...» (стр. 30). Россия деятельно готовится к войне. Проводимое в английском флоте техническое усовершенствование (пароходный винт) предрешило исход конфликта. Прежде чем войти в вооруженный конфликт с Россией, Англия ищет континентального союзника (стр. 33). Франция, офицеры которой создали флот и армию Мехмета-Али, оказывается желанной союзницей. Но это стало возможным только после того, как интересы

французских мануфактуристов перестали господствовать во французской внешней политике и «французский капитализм нашел себе новое поприще». «Новым поприщем» для французского капитала стала работа по перевозке английских товаров на кораблях французского торгового флота. Такая переквалификация французского капитала явилась результатом введения на французских судах парового двигателя (стр. 34). Дальнейшим последствием технического прогресса в области кораблестроения было то, что «Восток с его портами вдруг стал особенно интересен для французского правительства» и оно начало «спор о ключах» (стр. 35). «Втянувшись в игру» также и на Дунае, Франция потянула за собой Австрию, которая также боролась с таможенной политикой русского промышленного капитала. «Тройственный союз Англии, Франции и Австрии, — заключает Покровский, — подготовила промышленная политика России в первой половине XIX в.» (стр. 35). После Севастополя русский аграрный капитал вышел из подполья, в котором он вынужден был скрываться в период николаевского царствования: появился фритредерский тариф 1857 г.

Развитая Покровским новая концепция внешней политики царской России во многих отношениях отличается от его старой концепции: он не отрицает теперь международного значения таких фактов ближневосточной политики царизма, как Адрианопольский мир иУнкиар-Искелесский договор, он пытается вставить персидскую и среднеазиатскую проблемы в международные рамки, он отказывается, наконец, от легенды об англо-русском союзе 40-х годов и от своего старого тезиса о колониальной зависимости от Англии, в какую в порядке рецидива попадает в эту пору Россия.

В этом новом историческом построении Покровского можно встретить ряд фактических неточностей и ошибочных утверждений. Не верно утверждение, что 1833 год стал первой трещиной в англо-русских отношениях, «неожиданной ссорой» Англии и России, как не верно и то, что старая англо-русская дружба основывалась на общности интересов этих двух стран в греческих делах: 1833 год принес сильнейшее углубление и обострение англо-русских противоречий, назревавших еще раньше и до того локализовавшихся, в частности — в греческих делах. «Преувеличениями» в стиле Уркарта являются указания на русские агрессивные замыслы в отношении Египта и Сирии, на попытки России овладеть Трапезундом и перешагнуть индийскую границу. Не правильно говорить о первых русских агентах в Афганистане как о пионерах в деле превращения афганского вопроса в вопрос англо-русской борьбы, как и рисовать поход Перовского в качестве предпосылки английской экспедиции в Афганистан: русские агенты появились в Афганистане после английских, с опозданием на 6 лет; поход Перовского был предпринят после начала английской экспедиции, как ответ на нее. Не приходится говорить о неудовлетворительности «кораблестроительной» теории исхода

Крымской войны: участие Франции в войне в качестве «континентального союзника» Англии указывает на необходимость, даже ограничиваясь рамками военной техники, не суживать вопроса до пределов навальных. Не приходится также говорить о несостоятельности развиваемых Покровским положений о том, как представители французской буржуазии из мануфактуристов превращаются в работников водного транспорта и как Франция в 50-х годах впервые будто бы заинтересовывается восточным вопросом. В середине XIX в. французский капитал устремляется не только в дело водного транспорта, но и в железнодорожное строительство и в предприятия по прорытию каналов и не ограничивается пределами Старого света, но ищет применения также на территориях Центральной Америки. Планы Наполеона III относительно Сирии, египетская политика Франции предыдущих десятилетий — не исторический мираж, проекты раздела Турции были знакомы еще Людовику XIV.

Не будем останавливаться на ошибках фактического порядка. Даваемое Покровским новое историческое построение заключает сравнительно не много таких ошибок уже по одному тому, что оно не много содержит и фактического конкретно-исторического материала. В новом историческом построении Покровского интерес представляют моменты методологического порядка и прежде всего три выдвигаемые Покровским положения: во-первых, что внешняя политика николаевского царствования определялась в конечном счете хлебными ценами; во-вторых, что эта политика определялась непосредственно ростом бумагопрядильного дела и являлась выражением интересов промышленного капитала; в-третьих, что это была политика борьбы русского промышленного капитала с промышленным капиталом английским, политика наступательная для первого и оборонительная для второго.

Можно ли согласиться с исходным положением Покровского о катастрофическом влиянии падения хлебных цен в Европе на состояние русского хлебного рынка после 1821 г.?

Ответим на этот вопрос вопросом: какое место занимал в 20-х годах в русской внешней торговле вывоз хлеба? В течение всей первой половины XIX в. (до 1847 г.) хлеб не играл доминирующей роли в системе русского экспорта. Лен, пенька, сало стояли в первых рядах. Для двадцатилетия 1824—1843 гг. ценность вывозимого хлеба составляла 15% всего русского отпуска по европейской торговле.[1] В 1840 г. она составляла 17%, а в 1825 г. — всего лишь 7% русского вывоза.[2] Так как с 30-х годов цены на хлеб на иностранных рынках уже стали расти, говорить о катастрофическом влиянии возникшего в 20-х годах в Западной Европе кризиса хлебных цен на русское сельское хозяйство не приходится. Основной экономический факт, к которому, согласно Покровскому, в конечном счете сводилась внеш-

[1] Небольсин. Статистическое обозрение внешней торговли России, I, 11.

[2] В. Покровский. Ук. соч., I, XXVI—XXVIII.

няя политика николаевского царствования, оказывается призрачным, а исходное положение развиваемой Покровским концепции — ошибочным. Но допустим, что «в силу неотвратимых объективных условий» ближайшая экономическая основа внешней политики — хлопчатобумажное производство — вытекла из иных фактических предпосылок, и последуем за Покровским. Мы стоим перед фактом бурного подъема хлопчатобумажного производства в России. Факт этот вне сомнения. Можно даже добавить, что уже во второй половине XVIII в. темпы развития русской бумаготкацкой промышленности были значительны и за период 1768—1799 гг., когда цифр вывоза ее продукции во внешней торговой статистике России мы еще не встречаем, выработка бумажных тканей возросла в 97 раз.[1] 30-е годы XIX в. дают по сравнению с 20-ми годами дальнейшее повышение выработки; особенный же рост ее приходится на 40-е годы, когда (после 1842 г.) был разрешен вывоз машин из Англии и повышена пошлина на иностранную пряжу.[2] Какой же вывод можно сделать из факта этого подъема, от которого теперь отправляется Покровский и который он иллюстрирует таблицей с шести- и семизначными цифрами?

Чтобы связать факт случившейся в русском бумагопрядильном деле «катастрофы» с той цепью явлений, какую мы относим к области внешней политики, надо прежде всего отдать себе, как того требовал Ленин, ясный отчет в том, какое место занимала данная отрасль производства во всей системе народного хозяйства страны и, в частности, в системе всего русского экспорта. Надо, во-вторых, отдать себе, как того требовал Ленин, ясный отчет в экономическом положении стран, выступавших в качестве контрагентов той страны, внешнюю политику которой мы изучаем. Нужно, наконец, как того требовал Ленин, отдать себе ясный отчет в том, какие изменения вносил данный экономический факт в «объективное положение командующих классов», в какой мере он мог влиять на характер государственной власти и проводимую ею политику.

Ответа на первый из этих вопросов Покровский нам не дал. Он не говорит о том, каков был удельный вес русской индустрии в системе народного хозяйства России в 20-х годах: в России на долю земледелия и скотоводства приходилось 70% всего производства, на долю добывающей промышленности — 20%, на долю обрабатывающей — 10%. Он не напоминает, что в 30-х годах вывозная торговля России росла вдвое быстрее, чем в 20-х, но что, в то время как во втором десятилетии фабрикаты составляли 13% всего вывоза, в третьем — они составляли только 9%.[3] Покровский не считает нужным выяснить абсолютные цифры русского вывоза хлопчатобумажных тканей за вторую четверть XIX в., — а они поднялись с

[1] Семенов. Ук. соч., III, 225—226.
[2] Там же, 269.
[3] Тенгоборгский. О производительных силах России, II, ч. 2, 300—317, М., 1855.

600 тыс. руб. всего лишь до 2.3 млн. руб.[1] Он пренебрегает указанием на то, что в половине XIX в. ценность русского хлопчатобумажного вывоза составляла только 4% ценности всей хлопчатобумажной продукции,[2] что тогда же в Россию ввозилось хлопчатобумажных изделий на 3.6 млн. руб. сер. и что ценность русского хлопчатобумажного производства была вдвое меньше ценности производства льняного и пенькового.[3]

Известно, что, выступая на европейских рынках в качестве земледельческой страны, царская Россия являлась на Востоке в роли страны промышленной: в 40-х годах вывоз хлеба, сырья и полуобработанных материалов по европейской торговле составлял 96%, тогда как в азиатской торговле промышленные изделия составляли уже тогда почти $^3/_5$ или 60% всего вывоза. Но известно также и то, что русский вывоз по азиатской границе составлял только $^1/_{10}$ часть всего русского вывоза.

Мы имеем полное право сказать, что русская индустрия обнаруживала жизнеспособность; мы должны сказать, что в период николаевского царствования она (и прежде всего хлопчатобумажная промышленность) сделала значительный шаг вперед, но мы обязаны подчеркнуть тот факт, что перевес земледелия именно в эту пору становился значительнее, внося по мере приближения к середине XIX в. в русскую внешнюю торговлю новую черту, заключавшуюся в том, что хлеб среди земледельческих продуктов стал занимать теперь первое место. Сосредоточив свое внимание на бумагопрядении и ограничившись абсолютными, хотя и многозначными цифрами хлопчатобумажной продукции, Покровский в конечном счете не доказал даже своего положения о бурном росте хлопчатобумажного производства. Говоря об этом производстве и только о нем, не определив его удельного веса в системе русского народного хозяйства, рассматривая последнее с точки зрения жаккардова станка, не дав дифференцированного анализа русского вывоза, Покровский упустил из поля своего зрения факт возрастающего перевеса земледелия в экономике николаевской России, перевеса его в русской внешней торговле и тем внес первое искажение в обрисовку русской экономики, в зависимости от которой определялись социальная природа николаевского самодержавия и характер его внешней политики.

Учел ли Покровский экономические корни той внешней политики, какую вели контрагенты царской России? Нет. Он оставил этот вопрос без внимания. В результате факт бурного подъема русской мануфактурной промышленности превратился в истории Покровского в факт локального значения, в факт, представляющий собою специфику русского экономического развития. Из истории Покровского выпало то весьма важное для понимания эпохи обстоятельство, что

[1] Там же, Ук. соч., 340.
[2] Там же, 349.
[3] Там же, 579.

аналогичный подъем, с некоторыми вариантами в темпах и сроках, переживали в ту эпоху все европейские страны. Как можно судить о темпах развития русской индустрии, не имея материала для сравнения их с темпами индустриального развития других стран? Известно, что темпы развития русской хлопчатобумажной промышленности росли гораздо быстрее французских, но отставали от австрийских и германских, что во вторую четверть XIX в. ввоз хлопка в Россию увеличился в 24 раза, тогда как в Англию ввоз хлопка за первую половину XIX в. возрос в 17 раз.[1] Нельзя, однако, пройти и мимо абсолютных цифр вывоза. Нужно иметь в виду, что в 1848 г., когда Россия вывозила хлопчатобумажных тканей на 2.3 млн. руб. сер., Германия вывозила их на 11.4 млн., Франция — на 15 млн., а Англия — на 155 млн.[2]

Родоначальница тех технических усовершенствований, которые создали «катастрофический» рост хлопчатобумажного производства в ряде стран, Англия пережила этот скачок раньше других: в 1780 г., когда механическая прялка была уже изобретена, но не вошла в общее употребление, в Англии вырабатывалось хлопчатобумажных изделий приблизительно на сумму 2 млн. руб. сер., т. е. столько, сколько в России сорок лет спустя. Тогда же Англия вывозила бумажных тканей на сумму около 130 тыс. руб. К 1813 г. в Англии входит в употребление механический ткацкий станок, затем упраздняется ручной труд прядильщика, старые формы промышленности исчезают, применение парового двигателя наносит по ним последний удар. К середине 20-х годов, когда Россия вывозила хлопчатобумажных тканей на сумму около полумиллиона рублей серебром, Англия вывозит их на 20 млн., т. е. с конца 70-х годов увеличивает свой вывоз в 150 раз. К середине же XIX в., когда Россия вырабатывала на сумму около 60 млн. руб. и вывозила на 2.5 млн., Англия вырабатывала на 300 млн. и вывозила на 180 млн.[3]

Таким образом, в области вывоза хлопчатобумажных изделий английский промышленный капитал оказывался исполином по сравнению с русским. Как ни была мала емкость внутреннего русского рынка, форсировавшая экспансионные тенденции русской мануфактуры, — а русский внутренний рынок обнаруживал тенденции роста, душевое же потребление хлопчатобумажных тканей в России оставалось еще в 9 раз ниже потребления в Англии,[4] — с силою экспансии английской мануфактуры они не могли итти ни в какое сравнение. Игнорируя тенденции экономического развития стран, с которыми сталкивалась царская Россия на международной арене, рассматривая события и оценивая обстановку под углом зрения шуйских фабри-

[1] Тенгоборгский. Ук. соч., стр. 300—317.

[2] Там же, 332—336.

[3] Гиббинс. Промышленная история Англии, 151—153. Семенов. Ук. соч., III, 225—260. Тенгоборгский. Ук. соч., II, ч. 2, 340. «Журнал мануфактур и торговли», № 1—2, 1850.

[4] Тенгоборгский. Указ. соч., II, ч. 2, 338.

кантов, Покровский вносил дополнительное искажение в характеристику экономических рамок эпохи.

Как обосновал Покровский данное им определение политики николаевского самодержавия как политики промышленного капитала? Он обосновал это ссылкою на распространенную в публицистической литературе того времени пропаганду идеи промышленного призвания России, ссылкой на заботы правительства о правовом положении купечества и о процветании отечественных мануфактур, ссылкой на торжество протекционной политики, наконец ссылкой на проводимую царизмом линию во внешней политике. Едва ли кто может сомневаться в том, что развитие промышленности для дворянского самодержавия Николая I было делом первостепенной жизненной важности. В роли истребителя фабричных машин трудно представить себе не только Николая I, но и Александра I, при котором в период наполеоновских войн промышленные занятия признавались патриотическим делом. Верно то, что Николай I «ласкал» буржуазию, но эти «ласки» не были чужды и Александру I, издавшему два охранительных тарифа (1810 и 1822 гг.) и закон (1818 г.) о предоставлении крестьянам права основывать мануфактуры, как они не были чужды и Екатерине, причастной не только к либеральным, но и к охранительным тарифам, к отмене сборов с фабрик и заводов и к расширению прав торгового сословия. «Лаская» купечество и давая ему ценный подарок в виде закона 1832 г. о почетном гражданстве, Николай I ни на минуту не забывал о дворянских верхах и, приспособляясь к развитию капиталистических отношений, в целях укрепления дворянских верхов проводил закон 1831 г. об участии в дворянских собраниях. Считаясь с развитием капиталистических отношений в деревне, Николай держал курс на консервацию крепостничества и на такое кабинетное «обсуждение» реформ, которое не должно было завершаться их «осуществлением».[1] Вопреки противодействию ряда сановников и, в частности, министра финансов Канкрина, Николай приступал к строительству железных дорог, но шел на это, как признает и Покровский, прежде всего ради интересов военного дела: соседние государства их уже строили. Николай с большой пышностью совершил поездку на Нижегородскую ярмарку, но ему пришлось совершить также поездку в Варшаву, обставив ее еще большей пышностью. В известной, часто цитируемой беседе Николая I с Рыбниковым[2] последний касался только таможенных пошлин, а о необходимости для русского купечества выйти на внешние рынки говорил Николай. Тогда же, — а это было в 1833 г., — Николай обещал Рыбникову, что тарифы будут пересмотрены, но обещал в данном случае сделать то, что по существу уже было сделано, и не столько ради интересов российских промышленников, сколько ради интересов государственного казначейства. В 1836 и 1838 гг. он их пересматривал, не слишком сообразуясь с надеж-

[1] Сборн. Русск. истор. общ., 98, 237.
[2] «Русская старина», стр. 575—582, сентябрь 1886 г.

дами своего бывшего собеседника, а еще через восемь лет он стал их пересматривать в направлении, прямо противоположном пожеланиям Рыбникова.

В проводившейся николаевским самодержавием системе запретительных тарифов Покровский видит непосредственную акцию промышленного капитала, притом акцию, уникальную по своей одиозности, способную вооружить против себя весь цивилизованный мир. Известно, что, проводя систему высоких таможенных пошлин, правительство защищало не только и не столько интересы промышленного капитала, сколько интересы фиска, стремясь к созданию благоприятного торгового баланса, к приливу в страну драгоценных металлов, к поднятию курса падавшего ассигнационного рубля. Вместе с тем нельзя забывать о том, что Англия допустила ввоз бумажных изделий только с 1846 г. с пошлиной 10%, а раньше облагала их 37½, 50 и 67½%, что во Франции и в Австрии тариф на бумажные изделия был еще более строгий, чем в России,[1] что ввоз шерстяных изделий в Англию оставался обложенным в 15—20%, что ввоз этих изделий в Австрию допускался лишь по особым лицензиям, что ввоз этих изделий во Францию был совсем запрещен.[2]

Был ли закавказский транзит подарком в пользу армянской буржуазии и являлись ли Воронцов с Розеном, с одной стороны, и Канкрин, с другой, представителями торгового капитала и капитала промышленного, ведшими между собою борьбу по таможенному вопросу? Посмотрим, о чем говорят документы и факты. Хотя Канкрин участвовал в выработке тарифа 1822 г., он не разделял его запретительных тенденций и впоследствии не раз высказывался против огульного повышения пошлин. Ему приходилось отступать в этом вопросе перед настояниями самого Николая, который руководился прежде всего фискальными соображениями, проявившимися уже в связи с русско-турецкой войной и позже в связи с подавлением польского восстания.[3] Сторонник закрытия закавказского транзита, Канкрин первоначально (в 1827 г.) встретил противодействие со стороны Нессельроде и провел закрытие транзита только после окончания русско-турецкой войны и подавления польского восстания. И после закрытия транзита в бюрократическом аппарате продолжалась полемика, связанная с этим вопросом. Начальник черноморской береговой линии ген.-адъютант Анреп, сторонник запретительных мер, считал, что при разрешении вопроса о закавказском транзите следует исходить из задач, стоящих перед русским правительством в той борьбе, какую оно вело за «экономическое освобождение» горцев Кавказа от турецкой зависимости. Командированный на Кавказ для изучения вопроса на месте чиновник министерства финансов Гагемейстер, заявивший

[1] Небольсин. Ук. соч., II, 355—373.
[2] Там же, 385.
[3] Полиевктов. Николай I, 270—271.

себя сторонником свободной торговли, мотивировал необходимость предлагавшихся им мероприятий так: «Торговля должна служить единственным способом к укрощению нрава горцев... правительство должно стремиться к тому, чтобы снабжать горцев нужными им предметами за полцены и платить сколько возможно дороже за их произведения». Правительство, по мнению Гагемейстера, должно стремиться к тому, «чтобы отторгнуть закавказские свои владения от тесной связи с Турцией и Персией и сблизить их с Россией».[1]

Следует отметить, что сторонники запрета, как Анреп и Будберг, считали, что русская мануфактурная промышленность еще не достигла достаточного развития и в условиях свободы транзита окажется не в силах бороться с иностранными товарами. Гагемейстер и его единомышленники исходили, напротив, из мысли о достаточной зрелости русской бумажной мануфактуры, способной одолеть иностранную конкуренцию. Но и те и другие, предлагая различные методы действия, стремились к достижению одной цели — к политическому и экономическому отвоеванию горцев от турок, к цели, которая оказывается весьма сходной с той, какую ставило себе царское правительство в Средней Азии, стремясь, несмотря на ничтожное значение туркменского рынка, оторвать экономически туркмен от Хивы. В проводившихся царским правительством мероприятиях по вопросу о закавказском транзите, в различное время различных, но преследовавших в конечном счете цели превращения Кавказа в колонию царской России, можно говорить об их большем или меньшем соответствии или несоответствии с интересами русской промышленности или с интересами русской торговли, но интерпретировать их и завязавшуюся вокруг них борьбу как борьбу между партиями промышленного и торгового капитала значит исказить картину работы царского бюрократического аппарата, изобразив ее в тонах буржуазного парламентаризма. Обращают на себя внимание соображения, которые высказывал по вопросу о транзите Вронченко, преемник Канкрина на посту министра финансов и сторонник запретительной системы. Анализируя цифры русского вывоза в Персию и в Азиатскую Турцию в период действия запрета на транзит, Вронченко приходил к заключению, что, хотя общая цифра русского вывоза за десятилетие 1833—1843 гг. снизилась с 845 тыс. руб. сер. до 778 тыс., действовавшую запретительную систему нужно признать достигшей своей цели, так как «отпускная торговля наша с Персией и Турцией... не упала, но, напротив того, усилилась...» Как мог Вронченко с такими неутешительными цифрами, какие были в его распоряжении, притти к такому оптимистическому выводу? Основания к тому у него были: из суммы общего русского вывоза в Персию и Турцию за 1833 г. он отнял сумму, приходившуюся на долю вывезенной туда русской

[1] МИД, Гл. архив, 1—9, № 14, лл. 6—54, 1844. Записка, составл. в канцелярии управления Закавк. краем Нейдгардта. Не датирована. Относится к 1844 г.

мануфактуры и выражавшуюся во внушительной цифре 317 тыс. руб.; равным образом от суммы общего русского вывоза в Персию и Турцию за 1843 г. он отнял стоимость вывезенной туда за этот год мануфактуры, определявшуюся всего лишь 34 тыс. руб. Пренебрегая вывозом русской мануфактуры, как безнадежно потерявшей свои позиции в борьбе с иностранной конкуренцией на персидском и турецком рынках, министр финансов по прочим статьям русского вывоза получил безусловный прирост в размере 213 тыс. руб.[1]

При обсуждении вопроса о закавказском транзите руководитель финансового ведомства и преемник Канкрина считал, как видим, возможным сбросить вовсе со счетов интересы русской мануфактуры. Этими вычислениями Вронченко занимался осенью 1846 г., а в декабре того же года закавказский транзит был открыт.

Покровительство, какое оказывало царское министерство финансов русской промышленности, не дает нам оснований считать его политику политикой промышленного капитала, а его руководство — агентурой промышленного капитала.

Фридрих-Вильгельм Прусский был известен своей борьбой со среднепоместным дворянством (земскими чинами) и своим покровительством мануфактуре. Кольбер, министр финансов Людовика XIV, покровительствовал отечественной мануфактуре, снабжая предпринимателей беспроцентными ссудами и рабочей силой и доводя свой протекционизм до пределов мелочной опеки и принуждения. Английский король Карл II проявлял такую заботу об интересах развития отечественной мануфактуры, что издал закон, предписывавший хоронить умерших в шерстяных костюмах и класть их в обитые шерстью гробы. Однако у нас нет никаких оснований считать, что Карл II, Людовик XIV или Фридрих-Вильгельм проводили политику промышленного капитала. Нет у нас никаких оснований утверждать то же и относительно монархии Николая I и проводившейся им политики поощрения отечественной мануфактуры.

Протекционная система сама по себе не была, как показал Маркс, системой капиталистической. Она выступала лишь в роли ускорителя процесса перехода к капиталистическому способу производства. Объективно протекционизм расчищал путь к капитализму. Но самый факт существования протекционной системы в России в первой четверти XIX в. еще не означал отказа от феодального способа производства и не дает никаких оснований говорить о каких-либо изменениях в социальном строе крепостнического государства.

Обратимся теперь к фактам, ближайшим образом связанным с внешней политикой царизма, которую Покровский считает политикой промышленного капитала.

Борьба за завоевание рынков сбыта русской хлопчатобумажной

[1] МИД, Гл. архив, 1—9, № 14, л. 31, 6—372. Записка Вронченко не датирована, препровождена в мин. ин. дел при отношении от 5/X 1846 г.

промышленности составляла, по Покровскому, экономическое содержание всей внешней политики николаевского царствования. Стремление удовлетворить мануфактурную буржуазию новыми рынками и тем превратить ее в союзника власти, ведущей борьбу с среднепоместным дворянством, составляло, по Покровскому, политическое содержание всех акций, предпринимавшихся царизмом на международной арене.

Вскоре после восстания декабристов сенатор Дивов, останавливаясь на результатах политики Александра I, записывал в своем дневнике: «Проследив все события этого царствования, что мы видим? Полное расстройство внутреннего управления, утрату Россией ее влияния в сфере международных сношений и отсутствие каких-либо существенных приобретений для государства в будущем». [1]

В марте 1828 г., когда обсуждался вопрос о войне с Турцией, хорошо знакомый с «состоянием умов» А. Х. Бенкендорф писал Воронцову: «Если это не понравится некоторым кабинетам, зато народы будут рукоплескать этому, а последнее имеет большое значение в делах нашего времени». [2]

Есть много указаний на то, что во второй половине 30-х годов, когда ставился вопрос о военном продвижении в Среднюю Азию, для царизма и во внутренних и во внешних делах складывалось неблагоприятное положение: Англия и Австрия теснили Россию на Ближнем Востоке; в Сербии не удавалось справиться с конституционным движением, и англичане утвердили там свое консульство раньше русских; Пруссия даже в близком ей польском вопросе проявляла двойственность. Побывавший за границей в начале 1839 г. Погодин приходил к заключению, что царская Россия «решительно не имеет доброжелателей между европейскими государствами». [3]

Слабая результативность кавказских экспедиций, затянувшееся «замирение» Польского края приводили к тому, что даже в великосветских кругах говорили о том, что на теле России создались две трудноизлечимых «язвы» — Кавказ и Польша. [4]

Кризис барщинного хозяйства, приводивший к возрастающей задолженности помещиков и к росту оппозиционных настроений среди мелкопоместного дворянства, давал себя остро чувствовать; усиление губернаторской власти, разделение страны на 5 жандармских округов, ссылка и каторга не улучшили создавшейся во внутренних губерниях обстановки.

Посетивший в 1832 г. Варшаву киевский ген.-губернатор Бибиков на обеде у Паскевича с представителями польской знати утверждал, что «легче справиться с 12 польскими губерниями, чем с одной чисто русской». [5]

[1] Цитируем по Шильдеру: «Император Николай I», 296.
[2] Архив Воронцова, кн. 35, стр. 275.
[3] Барсуков. Жизнь и труды Погодина, V, 334.
[4] Русская старина, № 69, Дневник Гагерна, стр. 20, 1891.
[5] Кн. Щербатов. Ген.-фельдмаршал кн. Паскевич, его жизнь деятельность, V, 37, СПб., 1888—1899.

Прибывший в 1839 г. в Россию офицер голландской службы Гагерн записывал в своем дневнике сказанные одним из русских сановников слова: «Да, конечно, прогресс есть, но есть также и недовольство. Пружины слишком натягиваются, это же их изнашивает; может кончиться тем, что они лопнут».[1]

Среди мотивов русско-турецкой войны 1828 г., среднеазиатского похода 1839 г. и тем более венгерского похода 1849 г. мотивы внутриполитические прощупываются с достаточной отчетливостью.

Ощущавшаяся царизмом потребность поднятия своего престижа вовне и внутри страны путем блестящих военных или дипломатических (Ункиар-Искелесси) достижений входила существенным звеном в ту совокупность мотивов, которой определялась его внешнеполитическая линия. Но у нас нет никаких оснований утверждать, что это звено было буржуазного происхождения. Для этого надо было бы доказать, что русско-персидская война, которая началась неожиданным вторжением шахских войск в русские колониальные владения (Карабах и Ленкорань) и к которой Николай I оказался совершенно не подготовленным, была задумана Николаем для укрепления союза с буржуазией. Для этого надо было бы доказать, что война с Турцией была предпринята с целью укрепления союза с буржуазией, что балканские и турецкие рынки были нужны именно для сбыта русских фабрикатов, или убедиться в том, что овладение проливами было необходимо для вывоза русских фабрикатов в Европу. Для этого надо было бы доказать, что план второго хивинского похода после неудачи первого не был реализован в 1841 г. не потому, что этого не позволили интересы ближневосточной политики царизма, а потому, что это не соответствовало задачам укрепления союза с промышленной буржуазией. Для этого надо было бы, наконец, доказать, что подавление венгерского восстания могло бы повести к укреплению союза самодержавия с русской мануфактурной буржуазией.

Доказать всего этого нельзя, и Покровский оставляет свое положение недоказанным, а 1849 г. просто выбрасывает за борт своей истории, но продолжает утверждать, что внешняя политика правительства Николая I была политикой промышленного капитала. Он говорит прежде всего о первоначальных успехах деятельности торгового дома Посылиных в Персии.

Верно то, что Туркменчайский мир создал исключительно благоприятные политические предпосылки для экономического завоевания персидского рынка. Но, насколько успешно шло это завоевание и какую политику проводило в этом вопросе царское правительство? Как известно и как это признает и Покровский, торговые операции Посылиных скоро прекратились «по их безвыгодности», так как немецкая и английская мануфактуры вытеснили русскую из Персии (стр. 22). Еще в 1830 г., на другой год после Туркменчая и за год до закры-

[1] Русская старина, там же, 15.

тия закавказского транзита, англичане начинают форсировать вывоз своих товаров через Трапезунд и тогда же выбрасывают через этот путь в Персию своих товаров на 900 тыс. руб. асс.[1] В тот же год русский отпуск в Тавриз стоял еще на уровне 4.8 млн. Даже в 1833 г. начальство закавказских таможен продолжало смотреть с надеждой на перспективы борьбы с английской конкуренцией.[2] Но в том же 1833 г. ввоз русских товаров в Тавриз спустился до 1.7 млн.,[3] и Симонич начинал уже бить тревогу по поводу угрозы, создавшейся для русской торговли в северной Персии.[4] В 1834 г. Симонич писал уже о «грозящем нашей торговле разорении».

В сферах, близких к торгово-промышленным кругам, обсуждаются мероприятия по укреплению русской торговли в Персии. Но ни Канкрин, ни Нессельроде не проявляют интереса к вопросу. Русская торговля на рынках северной Персии продолжает хиреть, работающие в Персии русские подданные — армянские и греческие купцы — привозят товары не столько из России, сколько из Константинополя.

В 1835 г. размеры русского импорта в Тавриз падают до 600 тыс. руб. асс. Русское правительство приходит к заключению о невозможности преодолеть иностранную конкуренцию в сухопутной торговле с Тавризом и ориентируется на морской путь к Астрабаду. В 1836 г. Канкрин уже говорит о необходимости учредить в Астрабаде факторию по примеру английской в Бендер-Бушире. Нессельроде в основном разделяет астрабадскую ориентацию Канкрина.

В феврале 1836 г. в Особом комитете уже обсуждается проект организации русской торговой фактории в Астрабаде.[5] После двух предварительных опытов с экспортом русских товаров в Астрабад (экспедиции Эриванцова 1839 и 1841 гг.) и министерство финансов и министерство иностранных дел свое главное внимание решительно направляют в эту сторону. Еще в мае 1836 г. они примирились с тем, что Англия добилась права на обложение ввозимых в Персию английских товаров 5%-ной пошлиной.[6]

В 1841 г., когда под нажимом держав заключалось соглашение о проливах, русское правительство не только не противодействует, но даже содействует заключению англо-персидского торгового договора, по которому Англия учреждала свои консульства в Бушире и Тавризе. В 1842 г., когда Англия возбуждает вопрос о приравнении английских купцов к русским в деле удовлетворения долговых исков, русское правительство, идя англичанам навстречу, отказывается от

---

[1] МИД, Гл. архив, II—3, № 8, лл. 12—27, 1831. Донесение Безака из Тавриза от 15/IV 1831 г. № 26.

[2] Там же, лл. 111—112. Дон. нач. Закавк. тамож. окр. от 27/IV 1833 г.

[3] Там же, лл. 73—91. Дон. Кодинца от 2/II 1834 г.

[4] Там же, лл. 120—124. Дон. Симонича от 1/XI 1833 г.

[5] МИД, Гл. архив, II—3, № 5, л. 2, 1836. Отношение Канкрина Нессельроде от 27/II 1836 г., № 6 и 20, лл. 5—7. Отн. Родофиникина Канкрину от 27/VIII 1837 г. № 2054.

[6] British and Foreign state papers», 1835—1836, XXIV, 70. London, 1853.

привилегий, полученных ранее русскими купцами.[1] Примиряясь с английскими успехами в северной Персии, примиряясь с потерей рынков северной Персии для русской мануфактуры, царское правительство сосредоточивает главное свое внимание на Астрабаде, несмотря на то, что, как показал опыт эриванцовских экспедиций, здесь нельзя было рассчитывать на сбыт русской мануфактуры и приходилось продавать преимущественно тяжелый железный товар. Царское правительство твердо решило не пускать англичан в Астрабад. В 1845 г. оно добивается фирмана, дающего русским купцам право торговли в Астрабаде. В 1846 г. там учреждается русское консульство. Возникает вопрос о проложении путей для русской торговли к Мешеду, как коридору, ведущему в Среднюю Азию.[2] Астрабад был важен для царского правительства как база военного и торгового продвижения в Среднюю Азию. Интересы русских мануфактуристов в Персии должны были подчиниться той политике, какую проводило царское правительство в Средней Азии.

Хотя среднеазиатские независимые ханства не представляли емкого рынка для русских промышленных изделий, но потенциальные возможности, заключавшиеся в этих рынках не только как рынках сбыта, но и как рынках сырья, отсутствие иностранной конкуренции и ставшее уже реальностью значение «киргизских степей» для сбыта русской мануфактуры создавали для среднеазиатской политики царизма если не более прочную в настоящий момент, то более перспективную экономическую основу по сравнению с той, какая прощупывалась в русской политике в Персии. Разумеется, не только эти перспективы и не столько они заставляли царизм в рассматриваемую пору особенно дорожить Средней Азией: она являлась одним из наиболее пригодных плацдармов, чтобы, по выражению авторов многочисленных проектов походов на Индию, в нужную минуту «потрясти» могущество Англии. Уступая в начале 40-х годов Англии свои позиции в Персии и идя ей навстречу соглашением по турецким делам, царское правительство рассчитывало взять реванш в Средней Азии.

Средняя Азия являлась одним из плацдармов англо-русской борьбы, исторические корни которой лежали на Ближнем Востоке в проливах. Среднеазиатская политика царизма в решительные минуты всегда подчинялась ближневосточной политике его. Покровский считает, что и на Ближнем Востоке — в Турции и на Балканах — русская политика была делом рук промышленного капитала. Несостоятельность этого положения для второй половины XIX в. уже обнаружилась перед нами достаточно явственно при рассмотрении концепции Покровского в гранатовском издании.

На чем основывает Покровский это свое положение для 20—30-х годов? Он ссылается на мнение проф. Шимана и высказывание

[1] МИД. К. Тегеран, № 211, лл. 362—396, 629, 1842.

[2] Там же, № 133, лл. 752—758, 1846. Инструкция Долгорукова Черняеву от 9/X 1846 г.

Уркарта. Уркарт говорил о вытеснении Россией английской торговли с рынков Балкан, Азиатской Турции, Персии и Кавказа. Высказываниями Уркарта, природа которых нам известна, можно было бы пренебречь. Но их повторяет проф. Шиман, повествующий об «исключающем почти всякую конкуренцию [русском] влиянии в Румынии, Сербии, Черногории, Греции». Аргументы эти нельзя оставить совсем без внимания.

Молдавия и Валахия относились к тем подвластным Турции территориям, где русское влияние в рассматриваемое время можно было считать особенно прочным. Обратимся к показаниям русских консулов в Молдавии и Валахии начала 30-х годов. В 1832 г. в Молдавию было ввезено товаров: из России на 600 тыс. левов, из Турции на 3.8 млн. и из Австрии на 8.7 млн. левов. Какие товары ввозились в Молдавию из России? На первом месте стояли железо, воск, сало, меха, кожи, мука. Сообщая о положении русской торговли в Молдавии, русский консул Тимковский не хотел лишить русское купечество всяких надежд, но считал нужным предупредить, что, направляясь в Молдавию, оно «должно отваживаться, подкрепясь единодушной предприимчивостью на соперничество с торговцами австрийскими, кои с великими для себя барышами снабжают Молдавию из своего отечества и других стран Западной Европы всеми товарами не только для одежды и обуви, но и для самой утонченной роскоши»[1].

Не лучше обстояло дело в Валахии. В 1831 г. туда было привезено товаров из Австрии на 16.4 млн. турецких пиастров, из Турции на 4.4 млн., а из России на 800 тыс. пиастров.

По своему составу русский экспорт в Валахию ничем не отличался от экспорта в Молдавию. Пребывание в стране русских войск временно оживило, по словам русского консула в Валахии Минчаки, русскую торговлю в Валахии. «Но промышленники наши не находили никаких выгод умножить торговлю свою важнейшими предметами русских мануфактурных изделий». «Сбыт русских изделий, — заключал свое донесение Минчаки, — незначителен». «При таковом ограниченном ходе русской торговли... встречается совершенная невозможность определить степень успеха сбыту высших достоинств наших шерстяных, бумажных, шелковых и металлических изделий».[2]

Не более утешительная информация шла из Греции. В том же 1833 г. русский поверенный в делах в Греции Кюстер сообщал, что русский хлеб имел сбыт в Греции лишь в период революционного движения, и теперь рассчитывать приходится только на железо. «Может быть, это покажется удивительным, — добавлял Кюстер, — что такие

---

[1] МИД, Гл. архив, II—3, № 2, лл. 4—19, 1834. Записка Тимковского, пересланная в мин. ин. дел при отношении от 14/X 1833 г. за № 1636.

[2] Там же, лл. 22—27, 1834. Записка Минчаки, пересланная в мин. ин. дел при отношении от 5/XI 1834 г., за № 89.

удаленные страны, как Швеция и Англия, продают свое железо по более выгодным ценам, чем привозимое из России»...[1]

Что касается Сербии и Черногории, никакой торговой информации оттуда не получалось и никаких дипломатических представителей царское правительство в ту пору там не имело. Сведения же из Константинополя и из Азиатской Турции также не говорили о крупных достижениях. Турецкий рынок предъявлял большой спрос на сукна. В 1832 г. русское правительство проделало опыт продажи в Константинополе серальских сукон, специально для того изготовленных московским фабрикантом Тарасенковым, «дабы там открыть новую ветвь промышленности и торговли для наших мануфактуристов». Сукна эти не выдержали испытания, и от дальнейших попыток обслуживания турецкого суконного рынка пришлось отказаться.[2]

Как отмечал директор Азиатского департамента Родофиникин, в 1835 г. в Константинополе спрос на суконный товар уже покрывался привозом из Западной Европы, и русским суконным изделиям пришлось бы завоевывать уже занятый рынок особым понижением цены и особым повышением качества товара.[3]

По данным 1839 г., в Константинопольский порт прибыло свыше 6000 торговых судов. Суда, привезшие товары из России, составляли лишь $^1/_{28}$ часть тоннажа всех прибывших судов; в то время как на английских судах были привезены сукна и хлопчатобумажные товары, русские привезли хлеб, сало и кожи.[4]

Не отличалась устойчивостью и русская торговля на рынках Малой Азии. В 1834 г. из Трапезунда сообщалось, что торговые сношения русских черноморских портов с малоазиатскими «почти ничтожны», что «берега Дуная доставляют в Трапезунд и другие порты более хлеба, нежели Крым и Таганрог. Да и самая торговля железом, составлявшая доныне главную статью, приметно теряет свою важность; ибо англичане изыскивают все средства к распространению сбыта своего железа».[5]

Положение русской торговли в Малой Азии было настолько неудовлетворительно, что автор одной из поданных в 30-х годах в министерство иностранных дел записок намечал в качестве единственного пути для поднятия торговли в Малой Азии мероприятия внеэкономического порядка — организацию греческого и армянского населения, «преданного торговле и готового покориться влиянию чужих правительств».[6] Сороковые годы принесли дальнейшее понижение кривой

---

[1] МИД, Гл. архив, лл. 33—75. Записка Кюстера от 21/I 1833 г.
[2] Журнал мануфактур и торговли, № 3, стр. 36—40, 1832.
[3] МИД, Гл. архив, II—3, № 2, лл. 2—3, 1834. Отношение Родофиникина в департ. мануфактур и торговли от 8/I 1835 г.
[4] Журнал мануфактур и торговли, № 5, 326—328, 1841.
[5] Там же, № 5, стр. 92—98, 1834.
[6] МИД, Гл. архив, I—9, № 10, лл. 1—7, 1836. Записка бар. Р. Вольфа, представленная в мин. ин. дел 1/V 1836 г.

вывоза русского железа и в Европейскую и в Азиатскую Турцию,[1] сократили вдвое вывоз туда русских изделий[2] и свели на-нет сбыт русских сукон.[3]

В русской публицистике того времени, и особенно в специальном органе министерства финансов, можно найти не мало написанных в бравурных тонах статей на тему об успехах русской внешней торговли, о возможности завоевания новых рынков. Там можно найти цитируемые иногда в нашей исторической литературе высказывания о том, что «вся Азия должна быть целью нашей мануфактурной и торговой деятельности».[4] Там можно встретить даже проповедь завоевания русской мануфактурой рынков Бразилии.[5] Высказываемые поборниками русской мануфактурной промышленности пожелания и надежды не приходится, разумеется, принимать за реальные достижения русской мануфактуры и русской промышленности в деле завоевания внешних рынков, ни даже за реальные возможности будущих достижений. Как мы видели, именно в Турции и на Балканах этих реальных достижений и объективных возможностей было меньше всего. Но русская политика в Турции была стержневой в системе всей внешней политики царизма, турецкий участок — определяющим и самым боевым. Движущей силой русской активной политики и в Турции и на Балканах являлись не интересы промышленного капитала: ни Турция, ни Балканы (ни как рынки сбыта, ни как рынки сырья) не были для него районами первостепенного значения.

Турция играла в системе внешней политики царизма значение боевого участка прежде всего потому, что держала в своих руках выход в Средиземное море; Балканы — прежде всего потому, что являлись подступами к этому выходу. Если уже вслед за Покровским искать экономической основы русской ближневосточной политики того времени, ее нужно искать не в сфере интересов обрабатывающей промышленности, а в сфере интересов сельского хозяйства и отчасти промышленности добывающей, не в вывозе фабрикатов, а в вывозе сельскохозяйственного сырья и полуобработанных изделий.

Ради этого вывоза в Адрианопольский договор включалась 7-я статья, предусматривавшая свободу плавания через проливы «российских судов под купеческим флагом». Но до Адрианополя были и Кучук-Кайнарджи и Яссы, а 7-я статья Адрианопольского трактата, как известно, не разрешила всех стоявших перед царской Россией на Ближнем Востоке задач. Поэтому в том же трактате речь шла также о Сербии и о Молдавии и Валахии, которые могли стать полезным орудием для достижений основной главной цели. В 1833 г. царская Россия приблизилась к этой цели, возложив на султана функции охраны черноморских вод от иностранных военных судов. На-

[1] Небольсин. Ук. соч., 2, 429—439.
[2] Там же, 370—372.
[3] Там же, 374—397.
[4] «Журнал мануфактур и торговли», № 4, ч. II, отд. III, 6—9, 1835.
[5] Там же, стр. 14—24; также № 1, ч. II, 291—305, 1840.

сколько не прочна была эта дипломатическая постройка, основанная на передоверии самого важного дела султану, показали последующие события.

В 1841 г. Англии удалось запереть русский военный флот в Черном море, в 1856 г. — уничтожить право России на этот флот. Утверждение русского военного могущества в черноморских водах и в проливах для царской России означало также уничтожение тыла у кавказских народов, боровшихся за свою независимость; это облегчало овладение Кавказом и утверждение там власти царизма. Это способствовало, следовательно, и созданию базы для продвижения в Персии и Средней Азии. В этом плане интересы промышленного капитала смыкались с той политикой, какую помещичье самодержавие проводило на Ближнем Востоке. Развитие промышленности и тяга к выходу на внешние рынки, разумеется, приводили и к пополнению основных статей русского вывоза через проливы. Но для рассматриваемого времени это было лишь музыкой недавнего, но весьма краткого прошлого и отдаленного и только проблематичного будущего. В рассматриваемый период политика царской России на Ближнем Востоке не была и не могла быть политикой промышленного капитала.

В системе той политики, какую царизм проводил в Азии, был участок — китайский, — где можно было бы говорить об особенной заинтересованности русского промышленного капитала и об исключительно широких экспортных перспективах: во всей сумме русского отпуска по азиатской границе Кяхта занимала первое место; на долю ее приходилось $^3/_5$ всего русского азиатского вывоза, причем к середине XIX в. на первом месте стояло сукно и на второе начинали выходить бумажные ткани.[1] Несмотря на столь солидную промышленную базу, китайская политика царизма была настолько тихим участком в системе его внешней политики, что Покровский прошел мимо него. Он это сделал, правда, исходя из мысли о том, что в России в 40-х годах не было развито производство опиума, и русский промышленный капитал «не мог вытеснить с китайского рынка английский опиум» (стр. 30).

Согласно концепции Покровского, это был единственный район, где английский промышленный капитал удерживал еще свои позиции. Во всех прочих районах, всюду, по всему фронту международной борьбы, «в роли наступающей стороны являлась Россия», а «англичане лишь отстаивали [свои] позиции».

Мы видели, что в Персии англичане так успешно «отстаивали» свои позиции, что через 8 лет после Туркменчая вытеснили русскую мануфактуру с персидского рынка. Мы видели, что в Турции англичане «защищались» так успешно, что вскоре после Адрианополя не только вытеснили с турецкого рынка русские легкие мануфактурные изделия, но стали вытеснять даже тяжелое полосовое железо. В 30-х

[1] Небольсин. Ук. соч., II, 337—338, 376—397, 467.

годах английская мануфактура становится твердой ногой в Афганистане. Далее начинаются ее разведки в Кашгаре. Не следует думать, что этот «обороняющийся» гигант пренебрегал методами внеэкономической борьбы. Еще в 20-х годах он начал успешно применять эти методы в своих «оборонительных» работах в Персидском заливе, где, «защищаясь» от «пиратов», стал успешно истреблять арабский торговый флот. Со второй половины 30-х годов, «обороняясь» от роста русского политического влияния в Персии, Англия, как мы видели, скоро не только добивается равновесия, но к концу 40-х годов достигает в Тегеране явно выигрышного политического положения. Еще в 1838 г., в плане той же «обороны», Англия начинает превентивную войну в Афганистане, оккупирует остров Каракки и объявляет все южное побережье Персидского залива владениями своего вассала имама Маскатского. Объявив превентивную войну Афганистану и застраховавшись против всяких неожиданностей, могущих нарушить политическое положение Персии, в начале 40-х годов, превентивно «защищая» свой опиум от опасности возникновения опиумной промышленности в России, Англия производит разгром Китая. Особенно успешной оказывается ее «защита» от русской опасности в Индии. Эту «оборону» она начинает еще в 1748 г., когда русская пограничная линия шла по Уралу, а Оренбург был маленьким пограничным укреплением. Прервав свою «оборону» в 1765 г., Англия заканчивает так называемый первый период завоеваний. Она продолжает эту «оборону» рядом войн, которые велись Уэлсли и Гастингсом с 1798 по 1820 г. и составили так называемый второй период завоеваний. Допустив снова некоторый перерыв, словно для того, чтобы ввести в заблуждение будущих историков, английский промышленный капитал с 1838 г. переходит к третьему периоду «обороны», продолжавшемуся до восстания 1857 г. За этот период были присоединены к английским владениям северо-западная часть Индии, Пенджаб, Синд и Ауд.[1] От английской «обороны» больше всего потерпела царская Россия на ближневосточном фронте. Положение, какое создавалось для царской России в Персии, можно иллюстрировать двумя донесениями русского посланника в Тегеране Аничкова.

В 1841 г., касаясь, между прочим, своих взаимоотношений со вновь назначенным правителем Азербайджана, Аничков отмечал: «У Фетх-Али-хана нет для нас ничего невозможного. Со времени его вступления в управление Азербайджаном здесь уже не консульство российское, а верховная власть. Нет власти, кроме русской».[2]

Ровно через 10 лет, в 1851 г., касаясь вопроса о росте враждебных России иностранных влияний на политику тегеранского кабинета, тот же Аничков писал: «Наше пребывание в Персии превращается в какую-то непрестанную оборону себя и своего госу-

[1] Сили. Расширение Англии. Перев. с англ., 209—224, СПб., 1903.
[2] МИД, Гл. архив, II—3, № 2, лл. 179—203, 1899. Донесение Аничкова от января 1841 г., без номера.

дарства, в нескончаемую явную и тайную борьбу за интересы русского правительства и за его законное влияние».[1]

Известно, что бурный «катастрофический» рост английской мануфактурной промышленности заканчивался к 20-м годам. К этому времени она настолько крепко стала на ноги, что скоро начала переходить к системе свободы торговли. «Теория свободы торговли, — писал Энгельс,—основывалась лишь на одном предположении — на том, что Англия должна стать единственным крупным центром земледельческого мира. На самом деле это предположение оказалось совершенно несостоятельным. Условия современной промышленности, паровая сила и машина могут быть созданы везде, где есть топливо, в особенности уголь, а уголь есть не только в Англии, но и в других странах: во Франции, Бельгии, Германии, Америке, даже в России. И жители этих стран не видели никакого интереса в том, чтобы превратиться в голодных ирландских арендаторов, только ради вящшей славы и обогащения английских капиталистов».[2] Известно, что промышленная монополия Англии оказалась подорванной только в последней четверти XIX в. Говорить о том, что Англия первой половины XIX в. была способна только на то, чтобы «отстаивать (свои) позиции», значит ставить историческую действительность на голову.

Развитую Покровским на страницах «Русской истории с древнейших времен» концепцию внешней политики царской России первой половины XIX в. следует рассматривать как результат предпринятой им попытки выделить существенное и главное в этой политике, наметить основные тенденции ее развития. Покровский полагал, что цель будет достигнута, если будет дана «экономическая характеристика» этой политики. Покровский считал, следовательно, возможным объяснять всю внешнюю политику самодержавия непосредственно экономикой. Покровский шел, следовательно, по антидиалектическому пути искажения исторической действительности.

Не учтя основных тенденций в развитии экономики царской России первой половины XIX в., приняв за основу экономической жизни царской России основу прядильную, приписав нарождающейся промышленной буржуазии несвойственную ее возрасту роль демиурга внешней политики, превратив самодержавие Николая I в агентуру промышленного капитала, не овладев всем многообразием фактов внешней политики николаевского царствования, дав искаженное изображение международной борьбы, — Покровский пытался заключить конкретную историческую действительность в построенную им антимарксистскую схему. Действительность осталась вне этой схемы.

---

[1] МИД, Гл. архив, лл. 13—60. Донесение Аничкова от янв. 1851 г., без номера.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 1, 198.

Внешняя политика второй половины XIX в.

Переходим к рассмотрению «экономической характеристики», которую Покровский дает внешней политике царской России второй половины XIX в.

В борьбе, которую, согласно Покровскому, русский промышленный капитал вел с капиталом аграрным, последний восторжествовал и после Крымской войны на 20-летний срок занял господствующее положение. Это доказывают, по Покровскому, таможенные тарифы 1857—1868 гг. Они же являются показателем и того, что на 20 лет «исчез со сцены империализм николаевской эпохи» (стр. 289). В связи с изменениями, происходившими в экономике, должна была измениться «вся система дружбы и вражды», т. е. вся внешняя политика России (стр. 290): франко-русская вражда должна была смениться франко-русской дружбой; то же должно было произойти и в области англо-русских отношений. Однако, как признает сам Покровский, новая франко-русская дружба оказалась непродолжительной, и без видимых «экономических» оснований на смену ей в 1863 г. пришел русско-прусский союз. Почему дружба с Пруссией стала необходимой, — Покровский ничего не говорит. Он ограничивается только указанием на то, что она стала возможной. Но и для этого ему приходится прибегнуть к исторической аналогии — англо-русской дружбе начала XIX в. Почему в течение 20—50-х годов Россия могла обходиться без всякой дружбы с мануфактурной державой, а теперь это стало для нее жизненной необходимостью, — также остается загадкой. «Русско-прусский союз 60-х — 70-х годов, — декларирует Покровский, — до смешного напоминает русско-английский начала XIX в». (стр. 290—291).

Отсюда же, из союза с мануфактурной Пруссией, Покровский выводит и рецидив русского «империализма» в Средней Азии в 60 годах.

Так как открытый Покровским для 30-х годов русский «империализм» развертывался, как известно, в условиях вражды, а не дружбы с мануфактурной Англией, а повторное открытие этого «империализма» для 60-х годов должно быть объяснено моментами не вражды, а дружбы с мануфактурной Пруссией, то все основанное на аналогиях объяснение Покровского становится внутренне противоречивым и неубедительным. Поэтому от исторических аналогий Покровский спешит перейти к географическим, сравнивая русско-прусский союз с земной «осью» и заставляя все прочие события внешней политики рассматриваемого периода вращаться вокруг этой оси (стр. 291). Так как эта ось, согласно Покровскому, происхождения чисто экономического (союз с мануфактурной державой), вращение вокруг нее всей внешнеполитической действительности должно демонстрировать перед читателем возможность сведения всей «политики» непосредственно к экономической «основе», объяснения «политики» этой

«основой». Покровский строит свою концепцию на конкретных примерах из истории русской политики в Средней Азии. Познакомимся с тем конкретным материалом, которым оперирует Покровский.

Можем ли мы утверждать вместе с Покровским, что активная политика царизма в Средней Азии, прервавшись в 1853 г., возобновляется только в 1863 г., после подписания так называемой «альвенслебенской» русско-прусской конвенции? Обратимся к фактам, детальный анализ которых приобретает в настоящей связи особый интерес. Заметим, прежде всего, что прерванные накануне Крымской войны (1853 г.) русско-персидские переговоры о военном союзе возобновляются в январе 1855 г. и что непосредственно после возобновления этих переговоров шах предпринял поход на Герат. В январе 1856 г. оренбургский ген.-губернатор Перовский проектировал занятие хивинского укрепления Ходжа-Ниаз на Куван-дарье, имевшего для Хивы значение опорного пункта в ее операциях по сбору зякета. Царь утвердил проект Перовского, и укрепление было занято царскими войсками.[1] В октябре 1857 г. по докладу Горчакова Александр II утвердил проект отправки русского посольства в Хиву и Бухару. Следует ли этот факт рассматривать в плане отказа от проводившейся ранее царизмом активной политики в Средней Азии? Одним из доводов в пользу отправки посольства служила ссылка на появление в среднеазиатских ханствах английских агентов, действовавших во вред интересам России.[2] На посольство возлагалась обязанность исследовать русло Аму-дарьи и пути, ведущие к Балху и Афганистану. Посольство должно было добиться заключения выгодных торгово-политических договоров с Хивой и Бухарой.[3] Посольство с флигель-адъютантом полковником Игнатьевым во главе снаряжалось в ту пору, когда шла англо-персидская война и Индия была объята восстанием. В своем докладе военному министру Милютину Игнатьев писал: «В случае разрыва с Англией только в Азии можем мы вступить в борьбу с нею с некоторою вероятностью успеха и повредить существованию Англии».[4]

В сентябре 1858 г. оренбургский ген.-губернатор Катенин настаивал на необходимости активизировать русскую политику в Средней Азии, принявшую во время Крымской войны застойный характер. Катенин проектировал продолжить сыр-дарьинскую линию вверх по реке «до самого Ташкента с занятием этого города». Движение, по мысли Катенина, должно было начаться весною 1859 г. занятием Джулека, после же занятия Ташкента имелось в виду предпринять военную экспедицию в Бухару. На донесении Катенина, излагав-

[1] МИД, Гл. архив, I—9, № 3, лл. 2—5, 11, 1856/57.
[2] ЦВИА, ВУА, Департ. III отд., № 37585, л. 1.
[3] МИД, Гл. архив, I—1, № 99, лл. 158—160, 1857.
[4] Посольство выехало из Петербурга в апреле 1858 г. См. «Миссия в Хиву и Бухару в 1858 г. фл.-ад. полк. Н. Игнатьева», СПб., 1897.

шем этот проект, Александр II сделал помету: «согласен».[1] Вопросы дальнейшего продвижения в Среднюю Азию обсуждались на заседаниях Особого совещания 2, 9 и 24 января 1859 г. Реализацию планов Катенина о завоевании Коканда, Туркестана и Ташкента было решено отложить в виду недостатка средств. Было признано, однако, необходимым наметить на 1859 г. следующие мероприятия: постройку укрепления на Яны-дарье, овладение кокандской крепостью Пишпеком в верховьях р. Чу и усиление средств Аральской флотилии. Вместе с тем было принято решение об учреждении военно-торговой фактории на юго-восточном берегу Каспийского моря.[2]

В начале 1859 г. к берегам Балханского залива была послана военная экспедиция под начальством полковника Дандевиля. Результаты ее оказались неудачными в виду слишком большой активности, проявленной Дандевилем, и слишком широкой огласки, какую приняло дело о столкновении и расправе Дандевиля с прибрежными туркменами; опасались, что английские агенты используют инцидент в своих интересах.[3] Посольство Игнатьева, потерпев неудачу в Хиве возвращалось с известными достижениями из Бухары — эмир подписал договор. В то же время возвращался из Афганистана Ханыков, ездивший туда для возобновления сношений с Кабулом, Гератом и Кандагаром и для изучения возможной арены военного столкновения с Англией.[4] В своем письме Бруннову от 24 января 1859 г. Горчаков указывал, что в течение последних лет (т. е. в период Крымской войны) английское влияние в Средней Азии заметно выросло за счет русского. Горчаков подчеркивал настоятельную необходимость для России «выйти из инертности». Министр проектировал, воспользовавшись возвращением бухарского посла из России, отвезти последнего на родину водным путем и попутно стать твердой ногой в устьях Аму-дарьи.[5] Тогда же начальнику Аральской флотилии Бутакову была дана директива ехать с десантом к Кунграду, «не взирая ни на какие препятствия», и «употребить в случае надобности силу оружия».[6] Операция Бутакова не принесла желательных результатов, так как в Кунграде, временно отложившемся от Хивы, произошел контрпереворот и была восстановлена власть хана.

В течение последующих 1860 и 1861 гг. царское дипломатическое ведомство жило в постоянной тревоге в связи с поступавшей из Средней Азии информацией об активизации английской политики. Английские агенты свободно орудовали в Афганистане. Афганские военные инструктора появились в Коканде. Поддерживаемый

[1] МИД, Гл. архив, I—9, № 8, лл. 240—262, 1852—1862. Донесение Катенина 22/IX 1858 г.
[2] Там же, I—9, № 12, лл. 35—47, 48—51, 1858—1860.
[3] Там же, лл. 246—248. Журн. Ос. сов., 31/X 1859.
[4] Там же, № 99, лл. 202—210, 1857.
[5] Там же, I—1, № 83, лл. 275—276, 1841—1870.
[6] ЦВИА, Оп. 287, св. 159, № 5, лл. 2—3, 1859.

англичанами правитель Кабула, заняв Кандагар своими вооруженными силами, угрожал Герату.[1] На заседании Особого совещания 3 марта 1862 г. обсуждался проект оренбургского ген.-губернатора Безака о соединении Сыр-дарьинской и Сибирской линий путем одновременного движения войск обоих корпусов. План Безака, поддержанный директором Азиатского департамента Ковалевским, был рассчитан на два года и предусматривал завоевание Туркестана и Ташкента. Ген.-губернатор Западной Сибири Дюгамель возражал против этого плана, указывая на крупные расходы, связанные с его реализацией, на неизбежность активизации в связи с этим китайцев и, наконец, на возможность фактического овладения Ташкентом без военных действий, путем объявления его независимым владением под протекторатом России. Особое совещание склонилось на сторону Дюгамеля, но разрешило Безаку предпринять военную рекогносцировку Туркестана, а Дюгамелю — занять г. Пишпек и в следующем году — г. Аулиэ-Ата.[2] В течение 1862 г. и Безак и Дюгамель проводят намеченные операции. Последний сам ставит теперь вопрос о дальнейшем развитии военных операций против Коканда, о «прочном занятии Зачуйского края» и о снаряжении экспедиции на Кашгар. Вопросы дальнейшего продвижения в Средней Азии обсуждаются снова на заседании Особого совещания 2 марта 1863 г. Военный министр поддерживал план Дюгамеля; он говорил о том, что занятие Сырдарьи стало «историческим фактом», с которым нужно считаться и который влечет за собой превращение Ташкента в независимое владение. Безак и Ковалевский высказываются в пользу скорейшего наступления на Коканд и завоевания Ташкента и Туркестана. С возражениями против обоих проектов выступал министр финансов Рейтерн. Он указывал, что, несмотря на благоприятную международную конъюнктуру, «на время следует воздержаться от наступательных действий в Средней Азии», так как «необходимо сосредоточить деятельность и денежные средства на жизненных вопросах внутренней и внешней политики», что для данного момента «отвлечение сил от сердца России к такой отдаленной окраине вовсе не желательно».

Горчаков, только что подписавший «альвенслебенскую» конвенцию с Пруссией, поддержал Рейтерна. Особый комитет постановил реализацию плана Кашгарской экспедиции, равно как и «осуществление соединения линий, как оно ни желательно», «пока отложить», ограничившись рекогносцировочными действиями обоих губернаторов.[3] В июне 1863 г. Безак, порицая образ действий Черняева, сообщал, что отряд последнего, выступивший с целью рекогносцировки, «во-

[1] МИД, Гл. архив, I—9, № 8, ч. II, лл. 6—8, 32—33, 119—120, 1852—1868.
[2] Там же, № 15, ч. I, лл. 12—23, 1862—1864.
[3] Там же, № 26, лл. 37—43, 1863.

влеченный» в столкновение с кокандцами, овладел Сузаком.[1] На действия отряда Черняева особых средств первоначально затрачивать не приходилось. Продвижение это, протекавшее в условиях бухарской агрессии на Коканд, развивалось успешно. В своем отношении к Милютину от 16 июля 1863 г. Горчаков приходил к заключению, что «в настоящее время положение вопроса существенно изменилось... Успешные действия полковника Черняева без особых расходов и пожертвований значительно приблизили нас к цели...»[2] Министр имел в виду соединение линий и овладение Ташкентом и Туркестаном. В ту же пору Милютин писал Безаку о временном характере новой пограничной черты и о том, что при благоприятных обстоятельствах следует занять Туркестан.[3] К концу 1864 г. перед русским дипломатическим ведомством во всей своей остроте стояла не только общая проблема овладения Кокандом, но и специальный вопрос о занятии Ташкента.[4]

Сказанного достаточно, чтобы убедиться в том, что, во-первых, на всем протяжении того периода, который Покровский определяет как период не только франко-русской, но и англо-русской (стр. 303) дружбы, англо-русская борьба в Средней Азии не прерывалась ни на минуту; во-вторых, можно и нужно говорить не только о снижении активности царизма в Средней Азии в период Крымской войны, но и о некотором снижении ее в годы реформ и в период польского восстания; в-третьих, снижение этой активности отнюдь не означало отказа от агрессии в Средней Азии или перерыва в последней. Положение Покровского, утверждающего, что до 1863 г. «и речи быть не могло о продолжении дела, начатого Перовским» (стр. 292), что период «франко-русской дружбы» (1858—1863 гг.) был периодом затухания англо-русской вражды в Средней Азии и отказа царского правительства от активной среднеазиатской политики, возрождающейся лишь после заключения Россией союза с Пруссией в 1863 г., совершенно не обосновано.

Можно ли далее объяснять вместе с Покровским присоединение Ташкента к России австро-прусским договором о мире, заключенным 23 августа 1866 г. в Праге в результате прусских побед над австрийцами? Известно, что Черняев начал движение к Ташкенту в двадцатых числах сентября 1864 г., т. е. почти за два года до Пражского договора. В Петербурге придерживались тогда еще плана Дюгамеля, и Черняеву санкции на взятие Ташкента не дали. Однако уже в начале 1865 г. царское правительство изменило свой взгляд в связи с успехами эмира бухарского в Коканде (взятие Ходжента). В двадцатых числах апреля 1865 г. Черняев берет крепость Ниаз-

[1] Там же, № 15, ч. I, лл. 70—77, 1862—1864. Рапорт Безака от 11/VI 1863 г.
[2] Там же, лл. 85—88.
[3] Там же, лл. 178—180. Отношение Милютина Безаку от 19/IV 1864 г.
[4] Там же, лл. 196—228.

бек, питавшую водой Ташкент. Отрезав Ташкент от Бухары, Черняев блокирует его и 17 января 1865 г. берет штурмом. Вопрос об организации управления Ташкентом в течение долгого времени оставался открытым. Между тем военные действия против Бухары продолжались. Были взяты Ура-Тюбе, Джизак и Яны-Курган. В создававшейся новой обстановке царское правительство считало уже целесообразным присоединить Ташкент к русским владениям. Это решение было принято 20 июня 1866 г., т. е. до окончания австро-прусской войны.[1] А в ноябре 1866 г., когда австро-прусский мирный договор был уже подписан и ратифицирован, Милютин писал Крыжановскому о необходимости сокращения «издержек государственного казначейства».[2] Вопрос о Ташкенте, так же как и вопрос о замене Черняева Крыжановским, а Крыжановского Кауфманом, следует рассматривать в непосредственной связи с рядом других вопросов: в связи с бухарской агрессией на Коканд, с русско-китайскими трениями в Кашгаре, с ростом английского влияния в Афганистане, с русско-персидскими отношениями, определявшимися, в свою очередь, степенью успехов русской политики в Средней Азии. Можно, разумеется, сказать, что русско-прусский союз, обеспечивая спокойный тыл царской России на Западе, развязывал ей руки для энергичных действий в различных районах Востока. Но объяснять вместе с Покровским конкретные вопросы русской активной политики в Средней Азии фактами из истории русско-прусских отношений или из истории австро-прусских военных операций значит строить теорию, по своей вздорности ничем не отличающуюся от теории влияния солнечных пятен на историю.

Что представляет собою даваемое Покровским объяснение факта завоевания Хивы в 1873 г. поражениями французов в войне 1870/71 г. и подписанием русско-германской военной конвенции 24 апреля 1873 г.? Как отмечал министр иностранных дел еще в своем докладе в 1863 г., Бухара из всех среднеазиатских владений была самым важным «по своему положению и по непосредственному влиянию, которое она имеет на дела Коканда и Хивы».[3] Такую же мысль позднее (в начале 70-х годов) развивал директор Азиатского департамента Стремоухов в своем письме к Кауфману, добавляя, что торговля России с Хивой, крайне незначительная по своим размерам, разовьется после того, как Россия утвердится в Красноводске.[4] Годы 1864—1868 были посвящены, как известно, завоеванию и освоению кокандских и бухарских земель. Это важнейшее на среднеазиатском участке дело было, таким образом, закончено в основном до поражения французов и до заключения русско-германского союза.

[1] МИД, Гл. архив, I—9, № 31, лл. 3—8, 1868.
[2] Там же, I—9, № 11, лл. 137—138, 1865—1867. Письмо Милютина Крыжановскому от 1/XI 1866 г.
[3] Там же, I—9, № 6, лл. 2—7, 1863—1865. Всеп. докл. 17/III 1863 г.
[4] ГИМ, Архив Гродекова, 544/28. Письмо Стремоухова к Кауфману от 6/III 1870 г.

Проектировавшееся на 1866 г. занятие Красноводского залива было решено отложить, покончив сперва с бухарскими и кокандскими вопросами и урегулировав отношения с Персией, приобретавшие особо важное значение в связи с событиями в Афганистане.[1] Афганский эмир Шир-Али, ставленник Англии, укрепив свою власть в Кабуле и Герате, явственно покушался на бухарские (Балх) и персидские (Сеистан) владения и создавал для англичан удобный мост для экспансии в направлении Восточного Туркестана. Утвердившийся в Кашгаре Якуб-бек преследовал русских купцов и проявлял резко выраженные англофильские настроения.[2] Кашгарские дела доставляли русскому министерству иностранных дел особенно много хлопот и закончились, как известно, временной оккупацией Илийского края в 1871 г. Поскольку, однако, бассейн реки Аму-дарьи становился объектом агрессии Шир-Али и уже приходили известия о предстоящем учреждении английской фактории на Аму-дарье,[3] поскольку вместе с тем все больше давала себя знать активизация политики Хивы, поддерживавшей оппозиционные настроения «киргизов-адаевцев» и вступавшей в переговоры с туркменами-текинцами и джафарбайцами о совместных действиях против царских войск,[4] постольку приходилось особенно думать о безотлагательном утверждении на юго-восточном побережье Каспийского моря и о рекогносцировках в направлении к хивинскому оазису. В октябре 1869 г., т. е. не только до разгрома французов пруссаками, но и до начала франко-прусской войны, русские войска заняли Красноводский залив, и в конце того же года полковник Столетов начал рекогносцировку в Балханских горах. Отдаленность Хивы от побережья и внутреннее положение ханства препятствовали быстрому развитию операций в этом районе. Стремоухов высказывал при этом уверенность, что Хива находится «в таком отчаянно хилом положении», что «не окажется надобности ни в каких заграничных экспедициях» и что во всяком случае нужно предварительно хорошо договориться с Персией.[5] Такие взгляды господствовали в министерстве в течение всего 1869 г. Экспедиция против Хивы была, однако, назначена царем на весну 1870 г.[6] К весне 1870 г. нужные подготовительные мероприятия закончены не были — выяснялась необходимость доставки свежих пополнений действовавшим на побережье отрядам и заготовки верблюдов. И именно в этот момент пришлось заняться оккупацией Илийского края. К тому же, как и прежде, казалось, что время

---

[1] МИД, Гл. архив, I—9, № 11, лл. 20—23, 31—35, 1864.
[2] ЦВИА, ВУА, № 6810, лл. 10—16, 27—30.
[3] МИД. Гл. архив, I—9, № 15, лл. 11—17, 1868—1873. Письмо Струве 7/VIII 1869 г.
[4] ЦВИА, ВУА, № 6819, лл. 254—259.
[5] ГИМ, Архив Гродекова, № 4/23 Письмо Стремоухова к Кауфману 31/V 1869 г.
[6] Там же, 544/23—25, л. 3.

работает против Хивы и что можно еще оторвать от нее туркмен экономическими мерами. В марте 1871 г. Кауфман сообщал, что с экономическим отрывом туркмен от Хивы дело не продвигается, что Хива не только не идет навстречу требованиям туркестанских властей, но преследует русских купцов и демонстративно подчеркивает свою враждебность к России. Кауфман приходил к заключению о необходимости прибегнуть к решительным мерам.[1]

На фоне успехов царского правительства на бухарском и кокандском участках, которым не сумела помешать Англия, факт существования слабой, но непокорной Хивы представлял собою своего рода «аномалию», и можно было только удивляться, как эта «аномалия» просуществовала до 1873 г. В июле 1871 г., напомнная о необходимости скорейшего нанесения удара по Хиве, Кауфман вместе с тем выражал готовность снова отложить это дело в связи с обострением кашгарского вопроса и оккупацией Илийского края.[2] Возможно, что кунктаторская политика царизма в хивинском вопросе, именно в 1870—1871 гг., была обусловлена его выступлением на Ближнем Востоке, выразившимся в циркулярной депеше Горчакова и в вынужденном участии Бруннова в Лондонской конференции о проливах. Такое предположение было бы вполне допустимо. Имеющиеся в нашем распоряжении документальные данные говорят только о том, что темпы разрешения хивинского вопроса обусловливались необходимостью предварительного урегулирования, с одной стороны, русско-китайских отношений в Кашгаре, с другой — русско-персидских отношений и, кроме того, необходимостью подготовительных работ для преодоления технических трудностей, связанных с дальним походом, который можно было предпринять только весной.

Попытка Покровского объяснить политику России в хивинском вопросе фактами из истории франко-прусской войны и русско-прусских отношений является попыткой подменить конкретно-исторический анализ изучаемых явлений беспочвенными и ложными историческими сопоставлениями.

Проводя активную политику в Средней Азии, царская Россия не ограничилась, как известно, завоеванием Хивы: далее последовало окончательное включение Коканда в пределы империи, а в результате ряда экспедиций были присоединены туркменские степи. Так как объяснять эти события различными перипетиями из истории русско-прусского союза становилось уже невозможным, Покровский вспомнил о факте недавно открытой им англо-русской «дружбы». Начиная с половины 70-х годов, эта «дружба» должна была смениться, согласно Покровскому, враждой в связи с переходом России к системе протекционных тарифов (стр. 303). На среднеазиатских делах мы убедились, что Англия не была «другом» России еще и в

[1] ЦВИА, ВУА, Доп. 2 отд., № 42—492, лл. 262—263.
[2] МИД, Гл. архив, I—9, № 16, лл. 57—62, 1867.

ту пору, когда протекционных тарифов не было и в помине. Совершенно очевидно, что очередное обострение англо-русских отношений в конце 60-х годов было связано с успехами России в бухарском вопросе. Тогда же Англией был снова поднят вопрос о создании буферной зоны. Известно также, что к середине 80-х годов локализовавшийся в Средней Азии англо-русский конфликт можно было считать временно улаженным, хотя русские таможенные тарифы в эту пору продолжали расти.

Объясняя дипломатическую историю последней четверти XIX в. той же универсальной теорией таможенных тарифов, какой он оперировал раньше, при анализе событий 30-х годов, Покровский повторил теперь и все свои старые ошибки: в повышении пошлин он видел только мероприятия протекционистского характера, в вопросе о таможенных пошлинах — только таможенное наступление России, не понимая того, что речь здесь шла о международной таможенной борьбе. «Что она [Россия], — писал Энгельс, — окружала себя оградой покровительственных пошлин, это должно считаться слишком естественным, так как английское соперничество принудило к такой политике почти все великие страны». [1]

Защищаемое Покровским положение о том, что в экономической и политической борьбе, какую вела Россия сначала против Англии, а затем и против Германии, «роль наступающего неизменно принадлежала России» (стр. 311), приходится признать совершенно необоснованным. Говорить о наступательном характере русской политики в условиях Берлинского конгресса, разумеется, невозможно. Начатое в апреле 1878 г. продвижение малочисленных русских отрядов из Самарканда и Красноводска в восточном направлении носило характер небольшой, в военном отношении совершенно не подготовленной, демонстрации и было скоро приостановлено. В связи с подписанием Берлинского трактата миссия Столетова была отозвана из Кабула. Можно ли в качестве иллюстрации русской агрессии, направленной против Англии, приводить, как то делает Покровский, относящийся к 1877 г. скобелевский проект похода на Индию? Нельзя, во-первых, потому, что история проектов похода на Индию вовсе не начинается в 1876 г., как утверждает Покровский. Аналогичные проекты появлялись во множестве всякий раз, когда обострялись англо-русские противоречия: они появлялись в эпоху Тильзита, в середине 30-х годов в период Крымской войны и реставрировались в 60-х годах. Во-вторых, как признает сам Покровский, проект Скобелева, подобно предшествующим проектам, утвержден правительством не был. Поэтому, вопреки Покровскому, приходится утверждать, что вопрос о походе на Индию и в 1877 г. не «вдвинулся в сферу практических возможностей». Предпринятую в июле 1879 г. царским правитель-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма к Николай — ону, стр. 64. СПб., 1908.

ством военную экспедицию вглубь туркменских степей приходится рассматривать не только как продолжение среднеазиатских походов 60-х гг., но и в связи с военной агрессией, какую с ноября 1878 г. англичане повели в направлении Афганистана (сначала Кабула, а затем и Герата). Неудача первой ахал-текинской экспедиции, обусловленная в значительной мере неподготовленностью обеспеченного тыла со стороны Персии, показала вместе с тем, как далеко в рассматриваемое время стояла царская Россия от тех практических возможностей похода на Индию, о которых говорит Покровский.

Какое значение придавал проекту похода на Индию сам автор его?

«Как бы счастливо ни велась кампания в Европе и Азиатской Турции, — цитирует Покровский Скобелева, — на этих театрах трудно искать решения восточного вопроса» (стр. 323). Из этих слов следует только то, что в понимании Скобелева среднеазиатский вопрос имел чисто подчиненное значение. Мало того, Скобелев говорил о том, что «всю Среднюю Азию можно было бы отдать за серьезный и прибыльный союз с Англией» (стр. 325). Эти цитаты, в которых выражается готовность отказаться от англо-русской вражды, выросшей, согласно Покровскому, на основе таможенной борьбы, кроме разоблачения концепции Покровского ничего не дают.

Покровскому приходится выключить Англию из сферы своих построений и направить свои рассуждения в плоскость русско-германских отношений двух последних десятилетий XIX в. Ему нужно объяснить превращение русско-прусской дружбы в русско-германскую вражду. Через всю историческую арену протягивается бревно русских таможенных тарифов второй половины 70-х годов, заостренное против Германии, которым русские помещики и фабриканты начинают бить германских.

Покровский прежде всего упустил из виду, что проведенное русским правительством в 1876 г. повышение пошлин путем взимания их в золотой валюте было продиктовано не политикой протекционизма, а исключительно соображениями о сокращении утечки металлических денег за границу и о повышении платежного баланса, т. е. преследовало чисто фискальные цели, имевшие связь с предстоящим военным выступлением на Балканах. Последующие повышения русских таможенных ставок имели в значительной своей части протекционистский характер, но в известной мере сохраняли характер фискальный (это относится прежде всего к тарифам 1878 и 1880 гг. и отчасти к тарифам 1884 и 1887 гг.).

Покровский упустил из виду, что кульминационным пунктом фритредерской политики в Германии, Австрии и Франции был 1873 год. Разразившийся в этом году в Германии жестокий экономический кризис вызвал среди германских горнопромышленников, металлургов и хлопчатобумажных фабрикантов широкое движение в пользу протекционных тарифов.

Создавшийся в 1875 г. «Центральный союз германских промыш-

ленников», принявший ярко протекционистское направление, выработал в 1877 г. проект таможенного тарифа, который был принят правительством при составлении проекта таможенного закона 1879 г.[1] После 1875 г. к промышленному кризису в Германии присоединился аграрный кризис: сельские хозяева переставали быть фритредерами и заражались протекционистскими настроениями. Изданием покровительственного таможенного тарифа 1879 г. Бисмарк связал интересы консервативных аграриев с интересами промышленников. Недаром еще на заседании рейхстага 16 мая 1879 г. Ведель-Мальхов говорил о том, что «защита железа и ржи — одинаково необходима для блага отечества».[2] Покровский упустил из виду, что в том же 1879 г., вводя пошлины на хлеб, Бисмарк запретил ввоз русского скота в Германию, чем вызвал острое недовольство русских помещиков.

Покровский упустил из виду, что Бисмарк проводил эти мероприятия в ту пору, когда, в связи с вопросами территориальных разграничений между балканскими государствами, усилились австро-русские трения, а англо-русские противоречия достигли высокого напряжения. Покровский упустил из виду, что своим нажимом на Россию Бисмарк в тот момент добивался от нее обязательств нейтралитета в готовившейся им войне против Франции и что он добился этого образованием в 1881 г. союза трех императоров. Покровский упустил из виду, что возобновлением этого союза в 1884 г., в период апогея англо-русской борьбы в Средней Азии, Бисмарк, дав России обещание гарантировать закрытие проливов, предотвратил этим англо-русский вооруженный конфликт и поощрил русскую экспансию на Ближнем Востоке. Спор русского и германского помещиков, возникший в 1879 г., не поколебал существенно русско-германской дружбы, которая просуществовала до середины 80-х годов.

Тезис Покровского о «соперничестве русского и прусского помещиков на хлебном рынке» как об «основном смысле» русско-германского конфликта тем более нельзя считать доказанным, что Германия только недавно выступала у него в качестве «мануфактурной державы», а русский протекционизм, согласно Покровскому же, был делом рук русского промышленного капитала, снова поднимавшего голову в 70-х годах. Но, касаясь этого последнего вопроса, Покровский прошел мимо той перегруппировки социально-политических сил, какая происходила в России в течение 80-х годов. Германская ориентация русской внешней политики 70-х и 80-х годов определялась не только интересами помещиков и не только династическими связями, но также интересами петербургских банковских и биржевых кругов и связанных с ними представителей железнодорожного грюндерства, заинтересованных в импорте дешевого угля, дешевых рельсов, вагонов и паро-

[1] Соболев. История русско-германского торгового договора, 33—36. Птгр., 1915.

[2] Там же, 45—46.

возов. В 80-х годах происходит интенсивный рост русской текстильной промышленности, концентрация тяжелой индустрии, выдвижение на первые места промышленности юга России. Новые социальные группы, имевшие глашатаем своих интересов Каткова, которого Покровский ошибочно считал представителем аграриев, требовали новой экономической политики и протекционных тарифов прежде всего. «Экономическая основа» русско-германской дружбы ослабевала. Бисмарковская Германия, стоявшая в 1886 г. на пороге войны с Францией, сумела продлить дружбу с Россией до 1887 г., когда был заключен русско-германский договор о перестраховке. Но, не получив от России всего, что ему было нужно, — безусловного нейтралитета России в случае франко-германской войны, Бисмарк начал поход против русского кредита и тем самым ускорил франко-русское сближение. Экономическая основа назревавшей русско-германской вражды должна быть определена достаточно четко и ясно. Но было бы ошибочно думать, что эволюцию русско-германских отношений можно непосредственно свести к этой базе. Мы не можем этого сделать уже по одному тому, что к рассматриваемому времени наиболее влиятельной силой в Турции и на Балканах становилась Германия со своим австрийским сателлитом и что именно Германия отказалась от продления договора 1887 г. из нежелания ослабить этим австро-германскую дружбу и прежде всего австро-германское сотрудничество на Ближнем Востоке.

Нельзя считать также доказанным и тот вывод, какой делал Покровский из своего недоказанного и недоказуемого положения о борьбе двух помещиков, — о том, что франко-русский союз явился результатом русско-прусского соперничества на хлебном рынке (стр. 325). Нельзя считать также доказанным и последний вывод, делавшийся Покровским из этих недоказанных и недоказуемых положений, хотя и излагавшийся им в завуалированной форме, — о том, что результатом русской тарифной агрессии, — вызвавшей русско-германскую таможенную войну, приведшей к франко-русскому союзу и к превращению России в индустриальную державу, угрожавшую судьбам германского капитализма, — явилась мировая война (стр. 325—326).

Сводя всю историю русско-германских отношений к драке, затеянной русским помещиком у германской таможенной заставы, рассматривая события с точки зрения интересов прусских таможен, Покровский давал неправильную и ложную характеристику «экономических рамок» эпохи. О том времени, когда в России в пореформенных условиях, по словам Энгельса, происходило развитие промышленного капитализма «по масштабу, достойному великой страны»,[1] Покровский говорил как о периоде победы аграрного капитала над промышленным. О том времени, когда после промышленного переворота, происшед-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма к Николай — ону, стр. 64. СПб., 1908.

шего в области легкой индустрии, не только начиналось бурное развитие тяжелой промышленности, но в результате ускорявшегося процесса увеличения товарности сельского хозяйства крестьянская рожь потянулась на внешний рынок, и русский хлебный экспорт, в дореформенное время составлявший 35% всего вывоза, стал подходить к 60%, Покровский говорил только как о периоде нового расцвета русского протекционизма, упуская вместе с тем из виду политическое значение сопутствовавшего процессу концентрации производства срастания банков с промышленностью.

Говоря о русско-германских отношениях и не учтя тех изменений, какие происходили в экономике царской России, Покровский равным образом не разобрался и в изменениях, происходивших в экономическом и политическом положении Германии. Он не увидел выдвижения Германии в первые ряды великих держав и возникновения и роста сначала экономического, а затем и политического ее соперничества с Англией. Известно, что занимавшая в 1860 г. четвертое место по производству металла Германия к 70-м годам переходит на третье место, а к концу столетия утверждается на втором. Догоняя Англию по добыче каменного угля, Германия опережает ее по производству чугуна и вытесняет английские товары с европейского рынка. Переживая бурное промышленное развитие, Германия, в отличие от Англии первой четверти XIX в., не сокращает своей земледельческой продукции: в то время как Англия могла питаться своим собственным хлебом только $2\frac{1}{2}$ месяца в году, Германия целиком покрывала собственным производством свою потребность во ржи, и только пшеницы и ячменя ей нехватало на $\frac{1}{3}$ ее потребности.

Русско-германская таможенная борьба входила существенным звеном в систему русско-германских противоречий, но не была звеном всеопределяющего значения и единственным.

Еще в 1879 г. в Русском обществе для содействия промышленности и торговле отмечалось то обстоятельство, что Германия являлась не столько потребительницей русского хлеба, сколько перепродавцом его, отправляя в другие страны не менее 70% привозимых из России сельскохозяйственных товаров. Из этого факта делался вывод чисто практического значения — о возможности и необходимости организации непосредственной связи русского рынка с потребителями русских товаров.[1] В том же 1879 г. «Московские ведомости», говоря об угрожавшей России перспективе оказаться «в крепостной зависимости» от Германии, ударение делали не столько на экспорте товаров, сколько на внешних займах России, реализовавшихся в Германии, и на зависимости русских бумаг от берлинской биржи.[2] В 1885 г. Витте в тех же «Московских ведомостях» развивал

[1] Труды Общества для содействия русской промышленности и торговле, XII, 259—269. Доклад Познанского, читанный 2/V 1879 г.

[2] Московские ведомости, № 66 от 12/III 1879 г. и № 69 от 15/III 1879 г.

мысль о том, что для России выгоднее ввозить нужные ей фабрикаты из Англии.[1] Именно в эту пору, в период 1881—1890 гг., несмотря на продолжавшийся англо-русский конфликт в Средней Азии, возрастает вывоз русских товаров в Англию, а к середине 90-х годов, когда русские таможенные тарифы поднялись до своего протекционистского максимума, повышается, вопреки теории Покровского, и ввоз товаров в Россию из Англии.[2] Недаром в 1888 г., ссылаясь на появившиеся в германской прессе[3] статьи на тему о том, что русский рубль повысится и мир будет обеспечен, если Россия не будет вмешиваться в балканские дела, «Новости» задорно заявляли: «Нам говорят: дальнейшее понижение русской валюты или капитуляция! Мы должны ответить: повышение русской валюты или война!»[4] Вопрос о выходе России из финансовой зависимости от Германии разрешился, как известно, в том же 1888 г. без всякой войны, хотя и без возобновления в дальнейшем договора о перестраховке. Вопросы таможенные получили компромиссное разрешение в торговом договоре 29 января — 10 февраля 1894 г. Но русско-германские противоречия тем самым исчерпаны не были — они углублялись и обострялись, локализуясь прежде всего на Ближнем Востоке. Покровский выбросил за борт своей «истории» все основные факты политической жизни Европы последней четверти XIX в. Вместе с тем он не выяснил тех мотивов, которые руководили политикой Бисмарка в Европе и на Ближнем Востоке. Мы знаем, что перед Бисмарком стояла задача изоляции Франции, отвлечения России от сближения с нею, поддержки Австрии против России, компенсации Австрии приобретениями на Балканах, отвлечения Австрии от сближения с Англией,[5] — все это приводило не только к образованию союза трех императоров, но и к образованию внутри его, направленного против России, союза двух императоров, становившегося осью германской политики, к образованию тройственного австро-германо-итальянского союза (1882 г.) и к образованию австро-румынского союза (1883 г.).

Еще в августе 1870 г. Маркс писал о том, что захват Пруссией Эльзаса и Лотарингии превратит угрозу франко-германской войны в «европейскую институцию» и увековечит «в обновленной Германии военный деспотизм».[6]

«Я вспоминаю, — говорил товарищ Сталин на XIV съезде ВКП(б), — факты из истории франко-прусской войны, когда Германия оказалась победительницей, когда Франция оказалась побежденной, когда Бисмарк всячески старался сохранить «статус кво», т. е.

---

[1] Там же, № 52 от 21/II 1885 г.
[2] Гулишамбаров. Всемирная торговля в XIX в. и участие в ней России. СПб, 1898.
[3] National-Zeitung.
[4] Новости, № 48 от 17/II 1888. г.
[5] Grosse Politik, II. № 31.
[6] Архив Маркса и Энгельса, I (VI), 377.

тот порядок, который создался после победоносной войны Германии с Францией... Вот, в этот период, когда все говорили о мире, а фальшивые певцы воспевали мирные намерения Бисмарка, Германия и Австрия заключили соглашение, совершенно мирное и совершенно пацифистское соглашение, которое послужило потом одной из основ будущей империалистической войны. Я говорю о соглашении между Австрией и Германией в 1879 г. Против кого было направлено это соглашение? Против России и Франции... Последствием этого соглашения о мире в Европе, а на деле о войне в Европе, послужило другое соглашение, соглашение России и Франции в 1891—1893 гг.» Австро-германское соглашение 1879 г., которое трактовалось как «союз мира», «послужило прямой подготовкой к империалистической войне 1914 г.»[1]

Покровский прошел, далее, и мимо того факта, что преемник Бисмарка Каприви переставал «жонглировать с пятью шарами», с тем чтобы впоследствии решительно взять новый курс на Константинополь и Багдад, что этот новый курс уже означал политику, направленную на разрыв с Россией. Но Покровский не понял еще более существенного и важного и в «экономических рамках» новой эпохи, и в международной обстановке ее. Покровский не понял того, что Германия, как соперница Англии в борьбе за мировое господство, выступала в период заканчивавшегося раздела мира, что в условиях неравномерного развития капитализма она становилась на путь лихорадочных вооружений, колониальных захватов и вывоза капитала. Не довольствуясь своими тихоокеанскими, африканскими и дальневосточными приобретениями, Германия в 90-х годах стремится взять реванш и на Ближнем Востоке. В эти годы начинается «мирное проникновение» германского капитала в Турцию, рассматриваемую им уже как его будущая полуколония.[2] Германия приступает к реорганизации турецкой армии, и еще в 1884 г. турецкие военные заказы переходят от Армстронга к Круппу и Маузеру. В 1888 г. основанное Германским банком («Deutsche Bank») «Немецкое общество Анатолийских железных дорог» получает согласие Порты на передачу германским капиталистам, согласно старому проекту германского инженера Пресселя, концессии на постройку железной дороги от берега Мраморного моря, через Сивас, к Багдаду и с выходом к Персидскому заливу. К 1893 г. дорога была продолжена до Ангоры, но дальше Германия натолкнулась на противодействие России, охранявшей свою кавказскую границу. Немцы были вынуждены повернуть сооружаемую железную дорогу на Конию, и в 1898/99 г. Германия получила концессию на линию Кония — Багдад.

Русско-германские противоречия в 90-х годах зрели и с каждым днем все явственнее прощупывались, хотя старая дружба монархов

---

[1] XIV съезд ВКП(б). Стеногр. отчет, 15, 1926.
[2] Rorbach. Deutschland unter den Weltvölkern.

еще поддерживалась. Превращение традиционной русско-германской дружбы в ожесточенную затяжную вражду не может быть понято без учета и таких узловых моментов последующей дипломатической истории, как англо-французское соглашение 1904 г. и вступление России в Антанту в 1907 г. Это значит вместе с тем, что русско-германские противоречия зрели и углублялись в более широкой и глубокой колее англо-германских противоречий. В 1898 г. бывший английский премьер лорд Розбери в одной из своих речей говорил: «Нам угрожает страшный противник, который теснит нас так же, как волны морские теснят неукрепленные песчаные берега. Я говорю о Германии. Торговля Великобритании не перестает уменьшаться, и все то, что мы теряем, в главной своей части достигается Германией». «С того момента, — говорил Бюлов, — как Германия, выполнив свою задачу в области континентальной политики, обеспечив свое положение в Европе, дала понять, что она не согласна отказываться от политики мировой, Германия неизбежно становится на пути Англии».

Еще англо-русские противоречия давали знать о себе, еще Англия поддерживала, в противовес России, концессионную политику Германии в Азиатской Турции, и Сольсбери строил планы (1895 г.) раздела Турции между Англией, Германией и Австро-Венгрией. Еще подписывалось (16 октября 1900 г.) направленное против России англо-германское соглашение о сферах влияния в Китае. Еще Англия заключала с Японией (1902 г.) «военно-оборонительный» союз против России...

Но английские планы раздела Турции решительно отклонялись Германией.[1] Англо-германское соглашение от 30 августа 1898 г. о португальских колониях повисло в воздухе. Соглашение по дальневосточным делам саботировалось Германией, толковавшей его ограничительно, с исключением Манчжурии в пользу России. Англо-бурская война вызывала взрыв англофобских настроений в Германии. Предложенный Чемберленом во время боксерского восстания англо-германо-японский союз против России отклонялся Германией, не нуждавшейся в данный момент в союзе с Англией.

Превращение Германии не только в промышленную страну, вытеснявшую Англию с европейских рынков, но и в страну финансового капитала, в могучую морскую державу, угрожавшую связи Великобритании с колониями и ее мировой гегемонии, решало все. В плане углублявшихся англо-германских противоречий совсем иное значение приобретали для Англии и проливы: вместо возможной русской опасности здесь вырисовывалась вполне реальная опасность в лице немецкой стальной змеи, которая начинала ползти по Малой Азии к югу и своим жалом была обращена к Персидскому заливу. Англия окончательно оставляла свою традиционную для первой по-

[1] Grosse Politik, XIV, 193—199, 212—216.

ловины XIX в. политику в турецком вопросе, шедшую под лозунгом «Integrity of Turkey» и сводившуюся к поддержанию Турции в состоянии постоянной политико-экономической прострации. «Защитницей» неприкосновенности Турции становилась теперь Германия, стремившаяся к «сохранению» Турции с целью политико-экономического порабощения ее.

Не поняв социально-экономического характера новой эпохи, создав мнимую экономическую «основу» для объяснения фактов внешней политики, не учтя всего многообразия этих фактов, игнорируя важнейшие и существеннейшие из них, Покровский пытался свести к мнимой «основе» случайно выхваченные им факты. Получилось мнимое объяснение мнимых фактов мнимой экономической «основой».

* * *

Если в «Истории России в XIX в.» у Покровского отмечается некоторый эклектизм в подходе к историческим фактам и рядом с концепциями, построенными в духе «экономического материализма», уживается ничем не прикрытая идеалистическая трактовка исторических фактов, — «История России с древнейших времен» написана в плане последовательно проведенного «экономического материализма». Свою «Историю России с древнейших времен» Покровский начал писать в тот период, когда он глубоко увяз в болоте реакционной махистско-богдановской философии, которая представляла собой сочетание субъективизма махистского толка с «экономическим материализмом», основывавшимся на механистическом понимании роли экономики в истории, которая отрицала возможность существования объективной науки и в истории готова была видеть попытку «упрощения» «хаоса первичных ощущений» и «политику, опрокинутую в прошлое».

Развитая Покровским в «Истории с древнейших времен» концепция внешней политики России является попыткой применения ненаучного, антимарксистского метода экономического материализма в области изучения фактов международной борьбы. В своей «экономической характеристике» русской внешней политики Покровский, пытаясь свести факты внешней политики непосредственно к их экономической основе, пришел к извращению «экономики» и полному упразднению «политики».

Отправляясь от неверного изображения экономики царской России, подменяя происходившую в стране конкретную борьбу классов и общественных групп абстрактной борьбой «экономических категорий», — Покровский приходил к искажению классовой природы внешней политики самодержавия. Не случайно, что со страниц «Истории России с древнейших времен» выпали такие крупные и характерные для классовой природы самодержавия исторические факты, как образование Священного союза или интервенция 1849 г. В своей «Истории России с древнейших времен» Покровский игнорировал вместе с тем и классовый характер внешней политики тех стран,

с которыми сталкивалась Россия на международной арене. Тем самым он давал искаженное изображение фактов международной борьбы, пресекая всякую возможность их научного объяснения.

Действия экономических категорий — единственных сил, которые Покровский оставляет на исторической сцене, отличаются автоматизмом. События развиваются в плане экономического фатума, над историческими событиями тяготеет экономический рок.

Но это только видимость автоматизма, видимость исторической неизбежности или, как говорил сам Покровский, «совершенно объективной неотвратимой» необходимости. В «Русской истории с древнейших времен» есть элементы «политики», есть и одно живое, обладающее волей и действующее лицо. Живое лицо — это сам автор, приводящий экономические категории в действие, направляющий их движение. Политика, которую мы находим в «Русской истории с древнейших времен», — не та «политика», которая вступает во взаимодействие с «экономикой» и вместе с последней призвана объяснять историческую действительность. Политика в «Русской истории с древнейших времен» — это политика Покровского, борющегося с концепциями старой историографии путем их перелицевания, это политика мелкобуржуазного радикала, продолжающего смотреть на вопросы внешней политики как на нечто идущее от лукавого, а к фактам международной борьбы относиться как к дьявольскому навождению, не умеющего свою борьбу с царизмом поднять на высшую ступень и продолжающего отождествлять судьбы царизма с историческими судьбами страны. Экономические категории являются в данном случае только орудием этой политики. Деятельность русского промышленного капитала у Покровского такова, что вследствие тарифа 1810 г. Россия вооружает против себя Францию и оказывается «виновницей» войны 1812 г. Деятельность русского промышленного капитала у Покровского такова, что благодаря запретительному тарифу 1822 г., благодаря всей своей восточной политике Россия вооружает против себя Англию и остальную Европу и оказывается единственной «виновницей» войны 1853/56 г. А когда русский промышленный капитал временно сходит со сцены, для его замещения на поприще исторической агрессии Покровским призывается аграрный капитал. Во второй половине 70-х годов аграрный капитал при помощи тех же таможенных тарифов начинает у Покровского агрессию, направленную против Германии. На этот раз промышленный капитал действует в согласии с ним, и соединенными силами они так дружно обрушиваются на Германию, что в скором времени Россия у Покровского оказывается главной «виновницей» мировой войны.

Выбросив из своей истории ту «политику», которая, по выражению Энгельса, оказывает «обратное действие» на экономику[1] и по-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма, стр. 381, Соцэкгиз.

махистски «опрокинув в прошлое» свою политику мелкобуржуазного радикала, Покровский построил антимарксистскую концепцию, извращающую всю конкретную историческую действительность.

III. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЦАРСКОЙ РОССИИ XIX В. В ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЬЯХ М. Н. ПОКРОВСКОГО (1914—1930 гг.)

Статьи дореволюционного периода

В годы империалистической войны, в ту пору, когда писалась еще «Русская история с древнейших времен», Покровский напечатал в различных повременных изданиях ряд статей, которые следует рассматривать отчасти как поправки, вносимые им к высказанным ранее взглядам, отчасти как дополнения к ним. Из тех семи статей, которые относятся к этому времени,[1] две посвящены польскому вопросу и две — восточному.

В статьях этих он подверг резкой критике многие из тех положений, которые, будучи унаследованы им от мелкобуржуазной радикальной публицистики, развивались на страницах гранатовского издания.

В статье «Польша и Европа после Венского конгресса» обращает на себя внимание то обстоятельство, что Покровский расстается с игнорированием восточного вопроса как вопроса стержневого в системе внешней политики царизма, определявшего в течение длительного исторического периода развитие англо-русских противоречий: «Англо-русское обострение, — пишет теперь Покровский, — было связано ближайшим образом с дальнейшей интенсификацией наметившегося еще при Александре I и не ликвидированного Адрианопольским миром стремления России к Царьграду и проливам: в 1833 г. и тот и другие едва не перешли фактически в русские руки» (стр. 69). Весьма существенно и важно также двукратное отречение Покровского[2] от той наивно-идеалистической характеристики, какую он прежде давал внешней политике царизма периода, предшествовавшего Крымской войне, как политике, направленной исключительно к поддержанию принципов легитимизма, к отстаиванию старых трактатов, к борьбе с «духом времени», с «духом всесветной революции», где бы он ни проявлялся, безотносительно к тому, являлся ли он в данный момент реальной угрозой для поддержания «старого порядка» внутри страны. «Пруссия, как и император Николай, — пишет теперь Покровский, — руководилась вовсе не отвлеченными представлениями о «легитимизме» и революции; у ее политики были свои реальные задачи». Покровский имеет в виду политику обоих государств в поль-

[1] Были напечатаны в сборнике «Внешняя политика», изд. 1918—1919 гг. К этому сборнику относятся дальнейшие ссылки на страницы.

[2] В статьях: «1863 г. ...» и «Россия и Пруссия перед Крымской войной».

ском вопросе, причем подчеркивает множественность мотивов этой политики, хотя и не совсем правильно определяет их: Пруссия искала здесь, в частности, страховки от франко-русского союза (стр. 146), Россия — трамплина для прыжка в Европу (стр. 59). Покровский высмеивает теперь старое, «обычное» историографическое «клише», согласно которому «борьба с революционным пожаром» была главной из задач, доставшихся в наследство Николаю от его предшественника, согласно которому интересы царской России в датско-прусском споре определялись не такими реальными мотивами, как борьба за определенное разрешение вопроса о балтийских проливах, а такими идеальными, как борьба за законные права датского короля, которым угрожали голштинские бунтовщики (стр. 94). Покровский правильно подчеркивал при этом тот факт, что Николай уже в мае 1848 г. готов был действовать в союзе с французской республикой против своего шурина, угрожавшего балтийским проливам.

Однако Покровский не только вносил поправки в свои схемы, но дополнял и углублял свои старые ошибки. Исправляя старое историографическое «клише», он проводил его исправление с позиций экономического материализма. Поэтому «жандарм Европы», который раньше, на страницах гранатовского издания, фигурировал у Покровского в роли уркартовского горохового чучела и отсутствие которого на страницах «Русской истории с древнейших времен» можно объяснить спецификой тематики данной работы и отсутствием в ней всякой истории внешней политики, — убирается теперь Покровским вовсе с исторической сцены, на которой утверждают свое безраздельное господство появлявшиеся уже на страницах «Русской истории с древнейших времен» призраки из области экономики с аттрибутами «совершенно объективной, неотвратимой» необходимости (стр. 15). Исправляя, в частности, свою старую схему русско-прусских отношений 30—50-х годов как отношений, скреплявшихся общностью интересов в борьбе с «духом времени», Покровский вгоняет теперь эти отношения в новую, извлеченную из арсенала экономического материализма схему: таможенный вопрос, говорит он, был «скелетом в доме русско-прусских отношений в течение всего николаевского царствования» (стр. 102).

В статьях, о которых идет речь, у Покровского проявляется определенная, ярко выраженная тенденция углубить и универсализировать «таможенную» концепцию внешней политики царской России. Только что признав права гражданства за восточным вопросом, этой «таможенной» концепцией Покровский сводит это признание на-нет. Оказывается: «Восток был только театром конфликта, главным же антагонистом николаевской России была самая западная из европейских держав — Англия, столкновение с которой могло так же удобно произойти по поводу Афганистана, как и по поводу Турции... Восточная политика Николая Павловича была лишь одним из аспектов его экономической политики, которая давала одинаковые результаты

всюду, где она применялась: на берегах Вислы и Немана точно так же, как и на берегах Дуная или Черного моря...» (стр. 87—93).

Сведя сущность англо-русских противоречий к промышленному соперничеству двух стран и превратив это соперничество в универсальную причину причин, а англо-русские противоречия в беспредметные противоречия «вообще», выхолостив снова и снова упразднив восточный вопрос как самостоятельную проблему международной политики, Покровский рассматривает теперь восточную политику только как отражение той экономической «вещи в себе», какой оказываются у него таможенные тарифы. Та же восточная проблема снималась Покровским и в результате ряда других соображений, развивавшихся с тех же позиций экономического материализма: цифры, определявшие тоннаж проходивших через проливы торговых судов различных наций, снова приводили Покровского к абсурдной мысли о том, что вопрос о проливах был вопросом греческим. Но Покровский писал теперь об этом вопросе в условиях, когда царская Россия участвовала в войне, считая для себя «главным призом» ее проливы, когда крупнейшая партия русской либеральной буржуазии задачу овладения проливами включала в программу своей внешней политики, а имя ее лидера язвительно украшалось политическими его противниками эпитетом «дарданелльский». Игнорировать при таких условиях восточный вопрос было бы не только исторической ошибкой, но и просто политической слепотой. Если в довоенный период оперирование доводами от экономического материализма, уводившими историка в область господства экономического фатума, могло кое-как сойти с рук, то теперь, как говорит сам Покровский, приходилось «все чаще и чаще вспоминать слова Энгельса, что экономика объясняет историю лишь в конечном счете» (стр. 6), и искать в истории также и политические корни такого крупного фактора международной политики, как тяги России к проливам.

Покровский преодолевал стоявшую перед ним как перед историком задачу при помощи Ф. М. Достоевского. Известно, что Достоевский, повторяя Данилевского, считал, что переход Константинополя в руки России являлся бы для нее лишь частью ее программы борьбы с революцией. Выше мы убедились в том, что, по существу, таких же взглядов раньше, в свой довпередовский период, придерживался и сам Покровский, переворачивая только тезис Данилевского — Достоевского вверх ногами. Теперь, закончив первый цикл идеалистического и второй цикл вульгарно-экономического объяснения внешней политики, Покровский старался своей первоначальной идеалистической трактовке придать «марксистский» характер, углубив ее анализом классового характера власти и ее внутренней политики. Покровский не отрицает помещичьего характера царского самодержавия; но, исходя из того, что классовая борьба, какую ему приходилось вести внутри страны, определяла его внешнюю политику, — Покровский готов выбросить из поля своего зрения всю арену международной

борьбы: «Устремления к Царьграду, — говорит он, — тесно связаны не только с международной обстановкой своего времени, но, пожалуй, еще теснее и больше с внутренним состоянием России в данный момент» (стр. 15). Этим общим положением объясняет теперь Покровский все внешнеполитические акции царской России, направленные к утверждению на Черном море и в проливах: это проявилось, по его словам, и в эпоху Екатерины, и при Николае I, и при Александре II в 70-х годах и, наконец, при Николае II в 1914 г. Во всех этих случаях, по мнению Покровского, царское правительство стремилось «к одной цели»: к «поддержанию устаревшего типа народного хозяйства», к поддержанию «всяческого застоя» в стране, к поддержанию крепостничества.

Может ли нас удовлетворить это объяснение Покровского?

Исследуя процесс образования рынка для капитализма, Ленин писал: «Если бы русскому капитализму некуда было расширяться за пределы территории, занятой уже в начале пореформенного периода, то это противоречие между капиталистической крупной индустрией и архаическими учреждениями в сельской жизни (прикрепление крестьян к земле и проч.) должно было бы быстро привести к полной отмене этих учреждений, к полному расчищению пути для земледельческого капитализма в России. Но возможность искать и находить рынок в колонизуемых окраинах (для фабриканта), возможность уйти на новые земли (для крестьянина) ослабляют остроту этого противоречия и замедляют его развитие».[1] К такому выводу приходил Ленин в результате выяснения общего вопроса о процессе образования рынка для капитализма. Это положение Ленина помогает нам вскрыть основные классовые мотивы колониальной политики царизма 60-х — 90-х годов. Это положение, из которого историк должен исходить при изучении фактов внешней политики царской России, отнюдь не освобождает его от анализа той конкретной исторической действительности, которая является непосредственным предметом его исследования. Оперируя этим положением применительно к событиям различных эпох, не стремясь к тому, чтобы в каждом отдельном случае наполнить его конкретным содержанием применительно к данной исторической обстановке, претендуя вместе с тем на то, чтобы объяснить все, — Покровский повторяет положение, уже доказанное, но сам не доказывает и не объясняет ничего.

Правильное положение о необходимости увязывать внешнюю политику с внутренней нельзя упрощать и доводить до абсурда путем сведения внешней политики исключительно к политике внутренней. Указывая на необходимость увязывать внешнюю политику с политикой внутренней, Ленин с неменьшей настойчивостью указывал также на необходимость изучения расстановки сил на международной арене и классового анализа этих сил.[1]

[1] В. И. Ленин. Соч., III, 465.

Не следует забывать, что русско-японскую войну, самый яркий в истории внешней политики случай, когда мы имеем документальное свидетельство руководящих политических деятелей о необходимости войной подавить революцию, — что и этот случай нельзя понять из фактов одной внутренней политики, потому что этой войны ждали и к этой войне готовились не только русские господствующие классы, но и японские. Мы не можем признать утверждение Покровского правильным, во-первых, потому, что предлагаемый им метод сведения, давая только половинчатое и потому ложное объяснение исторических явлений, ведет к ликвидации истории внешней политики и в результате — к искаженному освещению исторической действительности. Во-вторых, мы не можем признать утверждение Покровского правильным также и потому, что, увязывая внутреннюю политику с внешней, пытаясь дать анализ классовой борьбы внутри данной страны, Покровский исходит лишь из анализа борьбы верхушечных групп или фракций господствующих классов.

Не приходится говорить о том, что эти группы и фракции, наделяемые мнимыми свойствами, оказываются на страницах истории Покровского далеко не всегда вполне реальными величинами. Как мы уже говорили, согласно Покровскому, и Екатерина в период кризиса помещичьего хозяйства 60-х годов XVIII в., и Николай I в период аграрного кризиса 30-х годов, и Александр II во второй половине 70-х годов, когда появилось «чувство недомогания» в «буржуазных кругах», — все они, начиная агрессию на Ближнем Востоке, действуя по одной формуле и преследуя одну цель — сохранить крепостничество, стремятся сделать нечто приятное промышленной буржуазии и отвратить ее недовольство (стр. 18—20).

Нам уже приходилось указывать на то, что теория Покровского о промышленно-капиталистическом происхождении ближневосточной политики царизма в корне ошибочна и ложна. Несомненно в то же время, что вопросы укрепления престижа власти не только вовне, но и внутри входили в систему мотивов и николаевского и александровского правительств в те моменты, когда они приступали к своей военной агрессии на турецком Востоке. Нам приходилось уже указывать и на ту ошибку, какую допускал Покровский на страницах гранатовского издания, когда он объяснял происхождение войны 1877 г., игнорируя вовсе внутреннюю конъюнктуру страны. Развернутый классовый анализ этой конъюнктуры показал бы нам, что правительство стояло тогда перед фактом не только недовольства промышленной буржуазии, но и значительно более глубоких и сильных оппозиционных настроений известных кругов земцев-помещиков и прямо революционных настроений мелкой буржуазии города. Где, на каких внешних рынках лежали в эти годы преимущественные интересы русской промышленной буржуазии? Главным образом — на среднеазиатском и персидском, отчасти на китайском рынках. Предпринимает ли царизм военную агрессию на этих фронтах? Известно, что военная агрессия

в Средней Азии была предпринята царизмом еще в 60-х годах, в ту пору, когда, согласно Покровскому, были в силе фритредерские тарифы и, следовательно, промышленный капитал не выходил из рамок повиновения власти. Военную же агрессию царизм тогда развил такую, что Покровскому пришлось объяснять ее русско-прусскими и австро-прусскими отношениями. В конце же 70-х годов среднеазиатские походы были продолжены только после неудач турецкой войны и вызваны были в значительной мере внешнеполитическими и стратегическими соображениями.

Но была и внутреннеполитическая необходимость этих походов, и Иван Аксаков в дни взятия Ахал-текинского оазиса на этой стороне вопроса делал, как мы видели, особое ударение. Известно, что завоевание окруженного бесплодными песками Ахал-текинского оазиса само по себе непосредственных выгод для русской промышленной буржуазии не несло, а целесообразность проведения Закаспийской железной дороги даже оспаривалась Обществом содействия для русской промышленности и торговли.[1] Среднеазиатская проблема в целом интересам русской промышленной буржуазии была в ту пору несравненно ближе турецкой, вызывая у буржуазии целую гамму планов, надежд и чаяний. Достаточно просмотреть протоколы заседаний того же общества, устраивавшихся в 80-х годах, чтобы убедиться в этом. Здесь, в плане рассуждений о новых завоеванных рынках, мы встретим и критику теорий Тенгоборгского о земледельческом призвании России, и критику экономической политики самодержавия с ее ориентировкой на максимальный вывоз русского хлеба, и критику господствовавшей в царской России системы железнодорожного строительства, проводившейся в интересах помещичьего капитала, и критику увлечений царских дипломатов проливами, критику той внешней политики царизма, которая, по словам критиковавших, превращала Россию в своего рода «колонию», в «нечто вроде английской Индии и французского Алжира всей Европы». Здесь мы найдем ворох планов превращения России в промышленную страну, увязывавшихся с экономическим завоеванием среднеазиатских рынков. «Азиатский же рынок, — всегда твердили представители торгово-промышленных кругов, — есть единственный рынок, куда Россия может сбывать свои обработанные произведения».[2] Значение приобретенных среднеазиатских владений не ограничивалось для русской промышленности значением их как рынков сбыта. Выше мы уже видели, как после завоевания среднеазиатских ханств расширялась к концу 80-х годов площадь хлопковых плантаций Туркестана и какое значение они начинали приобретать для русской текстильной промышленности.[3] Новое хозяйство становилось если еще не рентабельным, то во всяком

[1] Историк-марксист, № 3, стр. 9, 1934.

[2] Труды Общества содействия русской промышленности и торговле, XIII, 53—59, 264—312.

[3] Русский вестник, 334—337, апрель 1890 г.

случае перспективным. Мимо открывавшихся перспектив не могли пройти равнодушно не только фабриканты и заводчики, но и землевладельцы, заинтересованные в образовании колонизационного фонда.[1] Даже городская мелкобуржуазная интеллигенция готова была увлечься «поступательным движением» России в Средней Азии, декларируя перемещение восточного вопроса с Балканского полуострова в центральную Азию.[2] Покровский прошел мимо отношения различных общественных групп к среднеазиатской и ближневосточной политике царизма. Не обратил он внимания и на то, как и почему в различное время различные участки международной борьбы приобретали различное значение для хозяйственной жизни России и, в частности, для развития русской промышленности. Но, став перед проблемой Константинополя и проливов и заговорив о них, Покровский утратил способность различать другие предметы. В частности, Покровский прошел мимо того факта, что персидский рынок, потерянный для России со второй половины 30-х годов, после русско-турецкой войны 1877—1878 гг., вследствие парализованного состояния закавказского и трапезундского транзита, отвоевывался обратно, и кривая русско-персидского товарооборота резко шла на повышение.[3]

Тогда же и перед русским помещиком замаячили перспективы приобретения «какого-либо пункта на берегу океана в широтах, свободных ото льда, например в Персидском заливе», и перед тяжелой промышленностью и банковскими кругами выдвинулась пока еще непосильная проблема трансперсидской железной дороги.[4]

Проблема железнодорожного строительства в Персии оказалась для царской России чреватой слишком большими трудностями, связанными с ее разрешением, — не только экономическими, но и политическими, и временно была разрешена царским категорическим «вето». Проблема завоевания персидского рынка сужалась до пределов азербайджанской проблемы и ущерблялась проникавшей на север Персии иностранной конкуренцией. Но во всяком случае можно сказать, что среднеазиатская агрессия царского правительства не только принесла ему «гул славы», о которой мечтал Аксаков, и новые рынки сбыта и сырья, но и расширила стратегический плацдарм, важный для дальнейших действий царизма и в западнокитайском, и в персидском, и даже в ближневосточном направлениях.

С такой же небрежностью отнесся Покровский к эволюции дальневосточной проблемы в системе внешней политики самодержавия, к вопросу о значении дальневосточного фронта для всей системы

---

[1] Вестник Европы, 377—397, май 1879 г.

[2] Неделя, № 7, 1885; № 51, 1889.

[3] С. Остапенко. Персидский рынок и его значение для России, 68, Киев, 1913.

[4] Неделя, № 16, 1885; Новости, № 331, 332, 335, 348, 1888; Гражданин, № 9, 1888. См. Международная жизнь, № 3—4. 1924 и Новый Восток. № 12, 1926

хозяйственной жизни царской России. Совершенно ясно, что без анализа этого вопроса ничего нельзя понять в ближневосточной политике царизма с конца 80-х годов. Без учета дальневосточной политики нельзя правильно ответить и на вопрос о связи тех или иных политических акций царской России со стремлением царизма к поддержанию крепостничества. Известно, что китайский вопрос, давно переросший рамки вопроса кяхтинского, превращался, в связи с агрессией иностранного капитала в Китае, в большую дальневосточную проблему, в которой оказывались одинаково заинтересованными и русский промышленный капитал, в лице представителей самых разнообразных отраслей промышленности, и русские помещики, думавшие об организации переселения крестьян, и, наконец, представители купеческого капитала, давно знакомые с китайским рынком по опыту старой караванной торговли.

В стенах того же Общества для содействия русской промышленности и торговле, где хоронились в ту пору планы использования ближневосточных рынков, к дальневосточным делам проявлялся такой повышенный интерес и внимание, что царское правительство не могло поспеть за планами своих буржуазных советчиков-доброжелателей. В 1881 г. Общество ходатайствует перед заинтересованными ведомствами об ускорении постройки Сибирской железной дороги, причем сторонники этого плана исходят из положения о том, что «в Европе нам делать нечего», что Закаспийская железная дорога не дала русской промышленности ничего, что Сибирская, соединив два океана, получит «мировое значение».[1] На торжественном заседании общества, посвященном 300-летию завоевания Сибири, ставится вопрос о колонизации Сибири в ее дальневосточной части, в частности и для того, чтобы лучше противостоять на этом участке натиску иностранного капитала на Китай.[2] В числе докладов, зачитанных в обществе в 1880 г., был даже доклад на тему «об исправлении русско-китайской границы», трактовавший о необходимости расширения русской границы за счет верховьев р. Онона, побережья оз. Далай-Нор и соляных озер, а также о желательности присоединения к России части северной Манчжурии.[3]

В течение 80-х годов тихоокеанская проблема становится одной из излюбленных тем русской буржуазной печати, ждущей от правительства решительного и энергичного выступления на дальневосточной арене. Выступление это должно было выразиться в приобретении незамерзающего порта, с одной стороны, в проложении сибирской магистрали — с другой. Известно, что занятое своими ближневосточными делами царское правительство активизирует свою дальневосточную политику только в последнем десятилетии XIX в. Политика эта

[1] Труды Общества..., XV, 1—69.
[2] Там же, XIV, 3—36.
[3] Там же, XII, 58—81.

проводится теперь уже в новой, империалистической обстановке, новыми, империалистическими методами и заканчивается военной дискредитацией царизма как одного из претендентов на наследство дальневосточного «больного человека».

Происходящий в условиях внутреннего кризиса крах дальневосточной политики царизма входит новым ингредиентом в систему внешней политики царской России. В результате временного выпадения дальневосточного участка как участка активной политики царизма, в результате затухания англо-русских противоречий в Средней Азии на первый план выдвигается вновь проблема ближневосточная и отчасти персидская.

Покровский прошел мимо этого факта, как не понял и того возрастающего значения, какое с течением времени приобретала ближневосточная проблема для царской России. Известно, что в течение первого десятилетия XX в. центр русской хозяйственной жизни настолько решительно переместился на юг, что более одной трети русского вывоза пошло теперь через черноморские проливы. Нужно иметь в то же время в виду, что к 1913 г. из всего вывозимого из России хлеба 80% экспортировалось через проливы. Вывозила же в эти годы Россия, в среднем, 30.1% своей продукции пшеницы, 45.3% ячменя и 47.7% кукурузы.[1] Проливы приобретали жизненное значение не только для помещичьего хозяйства, но и для крестьянского, в лице хозяйства его верхнего кулацкого слоя.

Проливы приобретали возрастающее значение не только для русского сельского хозяйства, но и для русской промышленности. Каменный уголь и железная руда Донецкого бассейна, кавказская нефть, грузинский марганец были теперь заинтересованы в проливах значительно сильнее, чем двумя десятилетиями раньше. Они были заинтересованы теперь не только в средиземноморских, но и в балканских и турецких рынках. В 1912 г. донецкий каменноугольный синдикат заключает договор о крупной поставке угля для Восточноанатолийской и болгарских железных дорог; тогда же он заключает договор с газовыми заводами Румынии; иными словами, Донецкий бассейн готовился к решающей роли на внешнем рынке, конкурируя с английским и немецким углем.[2]

Дело было, разумеется, не только в вывозе товаров. Нужно было готовиться и к тому, чтобы суметь противостоять на Ближнем Востоке странам, начинавшим экспортировать туда свои капиталы. А это означало, что Ближний Восток приобретал теперь исключительно важное значение и в отношении политическом. Нужно было прежде всего суметь противостоять железнодорожной агрессии Германии, нужно было предотвратить превращение Черного моря из моря

---

[1] Max Hoschiller. L'Europe devant Constantinople. См. сборн. «Проливы», 63. М., 1924.

[2] Там же, 68.

русско-турецкого в море, на котором получала возможность утверждения своей гегемонии Германия, через посредство дружественной ей Болгарии, колеблющейся и торгующей своей нейтральностью Румынии и, наконец, через посредство главного стража проливов — султана, руками германских военных инженеров превращавшего укрепления на проливах в неприступные позиции.

От перелицованного Данилевского к таможенным тарифам и от таможенных тарифов к поставленному на голову Достоевскому — таков тот теоретический путь, какой проделал Покровский в дореволюционный период в разработке стержневых вопросов внешней политики царской России XIX в. Это был порочный круг, составленный из методологических извращений, фактических ошибок, из фантасмагорий, вымыслов и небылиц. Он замыкался определенным политическим выводом. Вывод этот формулировался в двух статьях Покровского, относящихся к рассматриваемому периоду: одна из них была написана накануне войны на тему «Русский империализм в прошлом и настоящем»,[1] другая — в мае 1915 г. и отвечала на вопрос о «виновниках войны».[2]

Присмотримся к этим выводам Покровского. Внешняя политика России царствования Николая I, согласно Покровскому, — политика «ситцевого империализма». Тем же «ситцевым империализмом» является внешняя политика России царствования Николая II, относящаяся к 1910—1914 гг. Первое положение он доказывает тем, — и об этом-то в свое время и говорил Уркарт, — что тогда Англия выполняла исторически прогрессивную миссию, борясь с русской экспансией: «поперек дороги Англии, — пишет Покровский, — стоял русский империализм, а воплощением его был русский протекционизм, таможенная стена, отгораживающая Россию от капиталистического мира» (стр. 388).

Второе положение Покровский доказывает тем, что Россия к рассматриваемому времени снова отгородилась таможенной стеной от капиталистического мира. Только разбить эту стену была призвана теперь не Англия, которая «из страны, вывозящей товары, стала страной, вывозящей капиталы» (стр. 387), а Германия, больше всех страдавшая от русского империализма: «Добрых $^3/_4$ миллиарда, — пишет Покровский, — честный Михель приплачивает России ежегодно из своего кармана, и те миллиарды золота, которыми так любят похвастать русские министры финансов..., накоплены на немецкий счет» (стр. 388).

Это означало, согласно Покровскому, что и в начале XX в. Россия осуществляла свое историческое призвание империалистического агрессора, как она осуществляла его в начале XIX в. Роль защитника западноевропейского «капиталистического мира» от этого агрессора, роль защитника «прогрессивной», «революционной» Европы от

[1] См. сборн. «Дипломатия и войны царской России», стр. 379—389 и сборн. «Внешняя политика», стр. 153—161.

[2] См. сборн. «Внешняя политика», 162—191.

русских варваров перешла теперь от Англии к Германии. «Как видит читатель, —заключает Покровский,—сходство ситуаций начала XX в. и середины XIX поразительное: поставить на место «Англии» «Германию» — и статьи Уркарта будут самой «животрепещущей современностью». От Германии, по мнению Покровского, можно даже ждать большего: «Тогда Англии пришлось дожидаться, пока у нее найдется союзница в лице Франции... Германия имеет возможность действовать прямее и не хочет ждать» (стр. 389).

Исторически оправдав империалистическую Германию в ее борьбе с Россией, Покровский стоял, однако, еще перед вопросом оправдания Германии в ее борьбе с Антантой в целом. С Францией Покровский, как мы знаем, покончил еще на страницах гранатовского издания: она изменила «Европе» и «революции», вступив в полицейский союз с Россией. В империалистической войне она приняла участие, не будучи в состоянии, по разъяснению Покровского, внеэкономическими мерами бороться с ввозом в страну игрушек германского производства (стр. 178).

Труднее всего для Покровского было разрешить проблему противопоставления Германии Англии. Первоначально (до возникновения войны) он объявил Англию вне мирового конфликта, сведя последний к конфликту русско-германскому (стр. 388). Но, когда война началась, игнорировать Англию было больше нельзя. Характерно, что вывоз капитала как отличительную черту империалистической Англии Покровский не считал нужным принимать в расчет: империализм он определял как завоевательную политику, безотносительно к степени социально-экономического развития данной страны. Германия и Россия были уже определены Покровским как антиподы. Что же касается Англии, то, чтобы отнести и ее к категории антиподов Германии, Покровскому пришлось даже признаться в своих старых заблуждениях и ошибках: «Мы проглядели английского юнкера, — писал он, — потому что не видели в Англии того, без чего как будто нельзя себе представить юнкерства как социального явления»; между тем «в XVIII в. у Англии завелся огромный коллективный мужик, в лице цветного населения захваченных ею колоний» (стр. 182).

С наступлением войны в Англии растет дороговизна, понижается заработная плата, начинают играть роль военные элементы, русский эмигрант Адамович выдается русской политической полиции (стр. 183); фельдмаршал Китченер становится одной из самых популярных фигур в государстве; происходит «превращение британской демократии в Китченерию» (стр. 187). Англия вслед за Францией выпадала из системы «революционной Европы»: позиция Англии, Франции и России, вместе взятых и противостоящих юнкерской Германии, определялась одной целью — борьбой с «социализмом» (стр. 191).

Не приходится затрачивать время на критику исторической публицистики Покровского периода империалистической войны.

Все его рассуждения построены на непонимании характера новой эпохи, на непонимании принципиальных различий, существующих между эпохой домонополистического капитализма и его высшей и последней стадией — эпохой финансового капитала.

Напомним слова Ленина: «Колониальная политика и империализм существовали и до новейшей ступени капитализма и даже до капитализма. Рим, основанный на рабстве, вел колониальную политику и осуществлял империализм. Но «общие» рассуждения об империализме, забывающие или отодвигающие на задний план коренную разницу общественно-экономических формаций, превращаются неизбежно в пустейшие банальности или бахвальство, вроде сравнения «Великого Рима с великой Британией».[1]

Статьи пореволюционного периода

Покровский пришел к Октябрьской социалистической революции с целым рядом взаимнопротиворечивых, друг друга исключавших концепций внешней политики царской России.

Каким изменениям подверглись взгляды Покровского на внешнюю политику царской России в пореволюционный период? Для трудов Покровского, относящихся к этому периоду, характерно то, что именно в эту пору отчетливо выкристаллизовывается почерпнутая из той же богдановской социологии его теория о торгово-капиталистическом характере самодержавия, теория, основанная на непонимании учения Маркса об общественно-экономических формациях, теория, согласно которой «торговый капитал был настоящий царь, который стоял за коронованным... призраком или... манекеном, был настоящей руководящей силой, которая создала и русскую империю и крепостное право».[2]

Последовательно проводимая, эта теория социальной природы самодержавия должна была, разумеется, привести Покровского и к пересмотру его старых построений в области внешней политики царской России. Открывшиеся для Покровского возможности непосредственного знакомства со всей полнотой первоисточников дипломатической истории не могли в то же время не повести хотя бы к некоторому частичному пересмотру, если не исправлению, старых положений.

В предисловии к документам, подобранным на тему о русско-германских отношениях 1873—1914 гг. и опубликованным Центрархивом в 1922 г., Покровский, продолжая еще повторять свои старые положения о промышленном происхождении ближневосточной политики Николая I, признавал, однако, что восточный вопрос ни на минуту не терял значения важнейшего вопроса и в политике

[1] Ленин, соч., XIX, 137.
[2] Историческая наука и борьба классов. I, 28.

Александра II, и в политике его сына и его внука.[1] В своих статьях «Александр II» и «Александр III», написанных для II тома БСЭ, Покровский развивает приблизительно такие же взгляды. Большая статья в III томе БСЭ на тему «Восточный вопрос» указывает на ряд сдвигов, происходивших во взглядах Покровского. Характерно, что теперь он делает ударение не только и не столько на промышленном развитии России первого десятилетия XIX в., сколько на промышленном развитии Англии, причем последняя оказывается особенно заинтересованной в бассейне Средиземного моря. Николай I перед Крымской войной лишается у Покровского утрированных черт самонадеянного тупицы, каким он изображался на страницах гранатовского издания. Покровский вместе с тем правильно подчеркивает иллюзорность надежд, возлагавшихся Николаем на своих английских друзей. Теперь Покровский правильно отмечает вассальную зависимость Греции от Англии, как и правильно констатирует углубляющиеся после Крымской войны противоречия между Англией и Францией в вопросах Египта и Суэца. Здесь Покровский признает и самостоятельное значение за национальными движениями на Балканах; теперь он убедился и в том, что Австро-Венгрия стояла на пути национального развития Сербии.

Однако и в этой работе осталась неисправленной основная, важнейшая ошибка Покровского, свойственная его старым работам, — игнорирование вопроса о проливах. Восточный вопрос выводится попрежнему только из англо-русской экономической борьбы; англо-французская борьба 30—40-х годов у Покровского попрежнему выпадает; русский текстиль в эти десятилетия попрежнему безраздельно господствует в Турции и Персии; после Крымской войны Россия начинает готовиться к выступлению на Балканах только с 70-х годов.

Предпринятое Центрархивом опубликование переписки Вильгельма II с Николаем II, относящейся к 90-м и началу 900-х годов, привело Покровского к пересмотру его взглядов на дальневосточную проблему. Начатая им в этой области перестройка старой концепции не была, однако, доведена до конца: в результате мы встречаем теперь у Покровского, с одной стороны, становившийся стержневым русско-германский конфликт, выраставший попрежнему на почве борьбы за хлебные пошлины, с другой — «дальневосточную авантюру Романовых, загонявшую... Николая на колею англо-германского конфликта».[2]

К этому времени относится окончание и доработка впервые появившейся в печати в 1920 г. «Русской истории в самом сжатом очерке». История эта воспроизводит в основном концепцию, развитую Покровским в его «Русской истории с древнейших времен», но это повторяется здесь в утрированной и вульгаризованной форме,

[1] Красный архив, № 1, 1—9, 1922.

[2] Переписка Вильгельма II с Николаем II, 1894—1914, стр. IV—VI, изд. Центрархива.

обнажающей построенную Покровским схему во всей ее наготе. Если изложить сущность заключающейся в ней внешнеполитической концепции, то дело сведется в основном к следующему.

К началу XIX в. на исторической арене наблюдается деятельность трех «капиталов»: двух промышленных (французского и английского) и третьего — торгового (русского). Промышленные капиталы ведут между собою борьбу. Русский торговый деятельно помогает английскому промышленному. Вынужденный пойти на временную сделку с французским промышленным, он, в конце концов, «добивается своего»: армия французского промышленного капитала замерзает в снегах, принадлежащих русскому торговому капиталу (стр. 98—99).[1]

В тяжелые дни Тильзита, когда русский торговый капитал «совсем повесил голову» и раздавалось только его «глухое ворчание», мир обогатился новым промышленным капиталом — то был русский промышленный капитал. Ребенок рос так быстро, что скоро деятельность русского торгового капитала была им сведена на-нет, и от него на страницах истории Покровского почти ничего не осталось. Русский промышленный капитал не интересуется малорентабельным вмешательством в дела Западной Европы (1848 год в счет не идет) и открывает ряд завоевательных войн на Ближнем и Среднем Востоке, энергично наступая на зону влияния английского капитала. Последний оказывается вынужденным к самозащите; он отчаянно отбивается от превосходящего силами противника, но постепенно вытесняется со старых позиций.

Трудно отдать себе отчет в том, какая участь постигла бы английский промышленный капитал, если бы он не получил неожиданной поддержки от промышленного капитала французского. При этих условиях дело русского промышленного капитала оказалось безвозвратно проигранным.

После Крымской войны русский торговый капитал выходит из летаргии; он примиряется со своим старым противником, но не выпускает инициативы из своих рук. В результате внешняя политика царской России ознаменовывается двумя фактами: 1) завоеванием туркестанских узбеков и 2) мероприятиями по захвату Константинополя (стр. 165—167). Агрессия на Константинополь сталкивает русский торговый капитал с промышленным капиталом Англии и Австрии. Тогда он (русский торговый капитал) заключает союз с промышленным капиталом Пруссии и «обжуливает» австрийцев. «Общественное мнение русской буржуазии» (т. е. того же промышленного капитала) ему удалось обработать путем инсценировки боснийско-герцоговинского восстания, а также путем организации ряда болгарских восстаний и их подавления: турецкие власти, не разбиравшиеся в окру-

[1] Нумерация страниц дается по второму посмертному изданию 1932 г.

жающей обстановке, не подозревая ничего худого, устроили, по наущению русских, ряд болгарских и сербских погромов.

В то время, когда русский торговый капитал был занят этими проделками, английскому промышленному удалось поймать его с поличным и, вооружив турецкую армию, примерно наказать виновника войны 1877 г. Когда, в результате ряда поражений, понесенных русской армией, она стала угрожать Константинополю, на защиту последнего выступил победоносный английский промышленный капитал. «Игрушка», которую русский торговый капитал хотел подарить русскому промышленному, «оказалась», по словам Покровского, «сломанной и запачканной» (стр. 169). «Дитя ее не приняло, — пишет Покровский, — и еще больше надуло губы». Вскоре оно так рассердилось на приказчика торгового капитала, что убило его. Новый приказчик, поставленный торговым капиталом во главе государства,— Александр III — был тупица и пьяница. Придворная обстановка мешала ему пить как прежде «открыто», но он «напивался в одиночку».

В этой связи становится понятным, что проводить какую-либо внешнюю политику он решительно не был в состоянии. Однако «объективные условия» помогли ему. Снова понизились хлебные цены на мировом рынке. В связи с этим Россия из страны земледельческой стала снова превращаться в индустриальную (стр. 176—177). На сцене вновь появляется промышленный капитал. Он стремится к освоению оккупированной Болгарии, встречая противодействие со стороны болгарской буржуазии. Ее защитил прусский аграрный капитал. Началась борьба между двумя помещиками, причем русскому промышленному капиталу удалось временно остаться в стороне. «Прогнанный с берлинской биржи» Вышнеградский бежит в Париж, где находит себе убежище. Из Парижа Вышнеградскому удалось благополучно вернуться в Россию, но по его следам в Петербург приехали французские банкиры и генералы. Последние заставили злоупотреблявшего алкоголем царя подписать соглашение и, «потуже затянув на его шее веревочку», «повели» его и его невменяемого сына в Манчжурию. Русская внешняя политика вступает в новую стадию «первоначального накопления» и «торгашеского феодального колонизаторства» (стр. 316—323).

В своих «Очерках революционного движения XIX—XX вв.»[1] Покровский вносил в эту схему некоторые дополнительные моменты, в основном не нарушая ее. В «Очерках» русский «промышленный капитализм» и русский «торговый капитализм» не ограничиваются теми формами взаимной борьбы, какие, согласно Покровскому, были свойственны истории всех стран Западной Европы, кроме Англии; в России, торопясь догнать своих западноевропейских прототипов, «они сталкивались друг с другом более бесцеремонно», и «в этой спешке» «топтали и мяли друг друга» (стр. 14). Здесь же Покровский воз-

[1] Изд. 1924 г. (лекции, читанные в 1923—1924 гг.).

рождал таможенную теорию империализма. «Русский протекционизм,— говорил он, — в сравнении с германским — это тигр в сравнении с кошкой, а сравнительно с американским — тот же тигр в сравнении с рысью» (стр. 120). Отсюда — богатая территориальными приобретениями внешняя политика царской России второй половины XIX в. попадала у Покровского под определение «отчаянно империалистической».

Приведенную выше схему, в полном смысле слова чудовищную, последнюю схему Покровского, составленную в духе ярко выраженного и последовательно проведенного экономического материализма, он через два года сменил другой, которую вывел из окончательно к этому времени сложившейся теории «торгового капитализма». В 1925 г. Покровскому пришлось вступить в полемику с одним из своих учеников, разоблаченным впоследствии врагом народа Слепковым. Последний характеризовал самодержавие начала XX в. как власть промышленного капитала. Позабыв о своих собственных старых ошибках, Покровский, однако, правильно объявлял эту попытку троцкизмом.[1] Но он неправильно говорил о том, что «торговый капитал еще и в это время мог играть роль хозяина, а промышленный являлся как бы гостем, причем нельзя даже сказать, чтобы гостем почетным, а таким, которого пускают в комнаты по необходимости».[2]

«Русский абсолютизм, — по словам Покровского, — не только объективно был политически организованным торговым капитализмом, но и мыслил себя как таковой».[3]

Русский абсолютизм «выполнял», по разъяснению Покровского, «колоссальную внешнеполитическую работу» в интересах торгового капитала.[4]

Покровский находил, что «торгово-капиталистический смысл как завоевания Кавказа, так и Средней Азии» и русской политики на Дальнем Востоке не вызывает никаких сомнений».[5]

Он утверждал, что «в самом конце XIX в. в своей внешней политике империя Романовых осталась колониальной державой наиболее примитивного типа — аппаратом торгово-капиталистической эксплоатации малокультурных стран».[6] Он определял при этом Витте, Куропаткина и Ламздорфа, с одной стороны, и Николая II и Безобразова — с другой, как представителей торгового капитала «в двух его фазах». Это было время, когда Покровскому приходилось критиковать и другого своего ученика, также впоследствии разоблаченного врага народа Томсинского. Последний проповедывал теорию,

[1] Историческая наука и борьба классов, I, 207.
[2] Там же, 218.
[3] Там же, 215.
[4] Там же, 225.
[5] Там же, 235.
[6] Там же, 245—246.

согласно которой «вся внешняя политика Романовых определялась исключительно интересами промышленного капитала».

Напоминая своему ученику слова Энгельса об отсутствии автоматизма в области воздействия экономики на политику и о том, что «люди делают свою историю сами», Покровский доказывал законность «психологического метода» и говорил о важности изучения дипломатических документов эпохи.[1]

И в это же время решительно упраздняя свои старые схемы, Покровский подходил к постройке на базе теории торгового капитала новой схемы, в которую собирался уложить всю внешнюю политику и XIX и XX вв.

«На берегах Тихого океана, — приходил теперь к новому заключению Покровский, — продолжалась та же борьба за Константинополь, которую раньше вели на берегах Аму и Сыра».[2] «Вся наша внешняя политика, — продолжал он развивать ту же мысль в своих лекциях, читанных в следующем году в Свердловском университете, — была борьбой за торговые пути». «Со второй половины XVIII в., с Екатерины II до Николая II включительно, — это была борьба за Черное море и проливы, ведущие из Черного моря в Средиземное, борьба за южные торговые пути».[3]

Той проблеме, которую раньше Покровский трактовал как «старомосковскую легенду» и проблему мнимую, как «игрушку», подбрасывавшуюся царям для забавы, — этой проблеме, ограниченной при этом мотивами борьбы за торговые пути, он придает теперь значение не только главной, ведущей проблемы в системе внешней политики царизма (это было бы правильно), но и единственно реальной проблемы, к которой сводятся и перед которой бледнеют и исчезают (и здесь Покровский снова впадает в ошибку) все другие задачи внешней политики, стоявшие перед царской Россией. Из этой последней схемы Покровского теперь выпадает, в качестве политики, имеющей самостоятельное значение, вся среднеазиатская и вся дальневосточная политика царизма. Согласно этой схеме, до Крымской войны царизм был занят только проливами. После Крымской войны, вплоть до 1877 г., продолжалось то же самое. После окончания войны на Балканах война эта продолжалась в Средней Азии. Борьба за проливы привела к созданию Добровольного флота; она привела далее к постройке Сибирской железной дороги и к поискам незамерзающего порта на Дальнем Востоке. Словом, без черноморских проливов не было бы ни среднеазиатской, ни дальневосточной политики царской России, не было бы и дальневосточной «авантюры», которая, по разъяснению Покровского, зародилась именно в середине 80-х годов.

---

[1] Там же, 255.
[2] Там же, 262.
[3] Внешняя политика России в XX в., 11. М., 1926.

Построив попутно «авантюрную» теорию происхождения Сибирской железной дороги, установив, что на берегах Тихого океана царская Россия воевала за те же самые проливы,[1] Покровский попутно приходил и к новой теории происхождения революции: он утверждал, что «династию Романовых» «привела в Екатеринбург» именно внешняя политика.[2]

Превратив правильную мысль — о стержневом значении вопроса о проливах в системе внешней политики царской России — в мысль абсурдную, в мысль о всепоглощающем значении вопроса о проливах, Покровский на месте своих прежних ложных схем водрузил другую, не менее ложную.

Правильно отмечая, что для понимания происходивших на Дальнем Востоке событий нельзя ограничиться изучением политики одной страны и даже двух борющихся стран, что надо понять всю «систему империалистических противоречий, охвативших весь мир», Покровский в том же курсе лекций, читанных в Свердловском университете, приходил к новому ложному выводу о том, что на Дальнем Востоке Россия представляла интересы не только свои, но «в гораздо большей степени — германского империализма».[3]

Покровский шел, таким образом, по пути к очередной новой схеме, исходившей из мысли об отсутствии самостоятельных целей и интересов во внешней политике у царской России, исходившей из представления о России, как сателлите Германии. Только что упрекнув своего ученика в уклоне к троцкизму, намечавшейся новой схемой Покровский прокладывал новый прямой путь к нему.

Эта антиленинская схема истории русской внешней политики XIX в. осталась незавершенной, и о ней говорить не приходится.

Рассмотренная выше и вполне законченная схема Покровского об универсальном значении борьбы за южные торговые пути, за проливы, являясь схемой антиисторической, с достаточной убедительностью говорит нам о трагической судьбе всех усилий историка, который шел не марксистским путем: вся конкретная история внешней политики царской России оказалась ликвидированной, а та «старомосковская легенда», с которою в течение всей своей жизни, во всех своих работах по истории внешней политики царской России боролся Покровский, ожила под сенью надисторической категории «торгового капитала».

Методологическое банкротство Покровского с неизбежностью привело историка к теоретической капитуляции.

---

[1] Внешняя политика России в XX в., стр. 13—14.

[2] Красный архив, № 1, Русско-германские отношения. Предисловие М. Н. Покровского, стр. 6—9.

[3] Внешняя политика России в XX в., стр. 35.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своих работах по истории внешней политики царской России XIX в. Покровский дал ряд концепций этой политики, внутренне противоречивых и часто взаимно исключавших одна другую. Нередко приходится слышать: крупнейшая ошибка Покровского заключалась в том, что он игнорировал значение вопроса о проливах в истории внешней политики самодержавия. Иногда, наоборот, отмечается, что ошибка Покровского заключалась в том, что вопросу о проливах он придавал в системе русской внешней политики универсальное значение.

Верно и то и другое: на определенном этапе своей работы Покровский не видел реальной заинтересованности царской России в проливах и трактовал ближневосточный вопрос как вопрос, навязанный извне царизму; в другой раз он готов был сводить к нему все прочие вопросы внешней политики самодержавия. Некоторые указывают, что Покровский всю внешнюю политику царской России XIX в. ошибочно изображал как борьбу царей за «принципы легитимизма». Другие находят, что ошибка Покровского заключается в том, что он сбрасывал со счетов истории такие контрреволюционные акции царизма, как организацию «Священного союза» или интервенции 1849 г. И опять приходится повторить, что и то и другое замечание правильно, так как на различных этапах своей деятельности Покровский высказывал диаметрально противоречивые взгляды.

Взгляды Покровского на вопросы внешней политики царской России приходится рассматривать в их эволюции. Известно то теоретическое русло, по которому шло его развитие. Покровский «преодолевал» идеалистическое наследство буржуазно-дворянской историографии при помощи философской и социологической теории Богданова, в основе которой лежало по существу идеалистическое понимание истории. В ней уживался, с одной стороны, субъективизм махистского толка, отрицавший объективность научного знания, с другой,—экономический материализм, основывавшийся на механистическом, а не диалектическом понимании роли экономики и техники в истории.

Игнорируя основное положение марксизма, говорящее о том, что в основе каждой исторической формации лежит определенный способ производства, Покровский вслед за Богдановым шел к неправильному пониманию отношений обмена как определяющего фактора истории, к неправильной оценке роли хлебной торговли, хлебных цен и хлебного экспорта. Извратив роль обмена и производства, игнорируя конкретные классовые отношения, Покровский вслед за Богдановым дал неправильное понимание классовой природы самодержавия. В первых работах Покровского, вошедших в гранатовскую девятитомную «Историю России в XIX в.», царская власть попеременно опирается то на феодальную знать, то на среднее дворянство, то на промышленную буржуазию, то на блок дворянства с буржуазией. В «Русской истории с древнейших времен» власть эта попеременно вырисовывается

Покровским то как власть капитала «аграрного» или «торгового», то как власть капитала промышленного, то как агентура капитала «аграрного» или «торгового». В конце концов в своих последующих работах Покровский в полном соответствии с богдановской схемой нашел единую классовую базу самодержавия в лице торгового капитала. «Диктатура» торгового капитала, превращенная Покровским в надисторическую категорию, получила на страницах его истории роль универсального ключа, пригодного для объяснения исторических фактов самых разнообразных эпох.

Характерно, что, не понимая величайшего завоевания марксистской науки—Марксова учения об общественно-экономических формациях,—Покровский на всем протяжении своей деятельности не мог понять и ленинской теории империализма, как высшей фазы капитализма. В полном противоречии с ленинской теорией Покровский под империализмом понимал всякую захватническую политику. В годы империалистической войны он определял политику Николая I как политику «ситцевого империализма». А после Октябрьской Социалистической революции он отрицал империалистический характер русско-японской войны и объяснял (в 1926 г.) империалистическую войну как борьбу за господство в области океанского транспорта.[1]

Историческая концепция Покровского о роли торгового капитала в русской истории законченный характер получила не сразу.

Освещение фактов внешней политики царизма XIX в. с позиций теории торгового капитала, робкое и неуверенное в первых работах Покровского, последовательно и решительно проводится им только в его последних работах. Но антимарксистский, антидиалектический метод в изучении истории внешней политики царизма свойственен всем работам его.

В первых своих работах, посвященных дипломатии и войнам царской России XIX в., отличающихся особенным богатством конкретно-исторического материала, напечатанных в девятитомном издании Гранат, Покровский еще далек от того, чтобы рассматривать все внешнеполитические факты с позиций экономического материализма. С этих позиций он объяснял только те явления, которые легче поддавались этому мнимому объяснению. Все то, что Покровскому объяснить таким образом не представлялось возможным, им освещалось в чисто идеалистическом духе или объявлялось не реальным и вовсе не существующим.

В результате антимарксистского подхода к историческим фактам мы встречаем на страницах «Истории России в XIX в.» изображение александровской России как страны, находящейся в колониальной зависимости от Англии и не преследующей каких-либо самостоятельных внешнеполитических задач. Со страниц этой истории исчезает и вся та борьба, которую вела царская Россия за обеспечение свободного выхода в теплое море. Игнорируя значение восточного вопроса

[1] См. М. Н. Покровский. Империалистическая война, 1934, стр. 40.

в системе внешней политики царизма и не вскрывая анализа той классовой и международной обстановки, которая была характерна для Европы эпохи буржуазных революций, не видя на международной арене иных агрессивных сил, кроме царской России, Покровский приходил к вульгаризированному изображению как роли Священного союза, так и истории Крымской войны.

Не понимая того, что результаты Крымской войны лишили царскую Россию роли гегемона Европы, Покровский продолжал рассматривать всю внешнюю политику самодержавия всех последующих десятилетий только как борьбу этого гегемона за старые «принципы легитимизма» и противопоставлять реакционной царской России образ монолитной «революционной» Европы. Не отделяя существенное от второстепенного и определяющее от производного, Покровский подменял изучение основных мотивов колониальной политики самодержавия описанием методов этой политики и давал поверхностное, искаженное изображение ее.

В первой своей работе, посвященной истории внешней политики царизма, как и в ряде своих позднейших работ, Покровский выступал не только как историк, но и как публицист, на взглядах которого отражалось влияние народнической и меньшевистской публицистики. В борьбе с русской буржуазно-дворянской историографией он оказывался в плену у западноевропейской буржуазной историографии и публицистики. М. Покровский определял прогрессивность политики той или иной европейской страны по признаку антагонистичности в данный момент ее интересов интересам России.

Как Покровский впоследствии[1] сам признавался, он не сумел в своих первых работах преодолеть влияние идеологии II Интернационала и давал освещение международным отношениям «не столько с точки зрения реальных экономических интересов различных групп, сколько от идеологии этих групп».

В своей «Русской истории с древнейших времен» Покровский пытался исправить свои старые ошибки, но он исправлял их с позиций экономического материализма. В этом плане факты внешней политики должны были быть объясняемы непосредственно экономическими причинами, «автоматически» вытекать из экономики. Поэтому на почве кризиса хлебных цен и «катастрофического» подъема русской промышленности вырастала на страницах истории Покровского внешняя политика николаевского самодержавия как политика промышленного капитала. В этом плане запретительные тарифы приводили Россию с неизбежностью к столкновению с Англией, вынужденной обороняться от мнимой русской промышленной экспансии на Балканах и в Турции.

После крушения николаевской политики в Крымской войне под Севастополем в качестве решающего фактора появились на стра-

[1] В 1924 г. в «послесловии» к сборнику «Дипломатия и войны царской России XIX в.».

ницах истории Покровского фритредерские тарифы; это же должно было означать, что на смену внешней политики промышленного капитала приходила политика аграрного капитала, и вражда с Англией должна была на страницах Покровского смениться мнимой дружбой с нею. Протекционные тарифы конца 70-х — 80-х гг., начинавшие у Покровского угрожать судьбам германского капитализма, с неотвратимою неизбежностью приводили к русско-германскому конфликту и далее к мировой войне.

Строя свою историю внешней политики царской России в таком плане, Покровский оставлял за бортом своей истории такие факты, как образование Священного союза, подавление венгерской революции 1849 г., тем самым ликвидировалась проблема «европейского жандарма». Игнорируя английскую агрессию в Средней Азии, игнорируя завязывавшуюся в конце XIX в. империалистическую борьбу на Дальнем Востоке и начавшийся тогда бурный натиск австро-германского капитала на Ближнем Востоке, Покровский тем самым подсекал всякую возможность правильного понимания внешней политики царской России.

В годы империалистической войны и непосредственно за ними следующие, Покровский пришел к мысли о необходимости включить в свою концепцию внешней политики самодержавия позабытый им вопрос о борьбе за проливы. Применяя к фактам внешней политики свою антиисторическую, антимарксистскую теорию торгового капитала, Покровский заменил свое старое неправильное определение восточной политики самодержавия, как политики промышленного капитала, не менее ложным утверждением, что эта политика была политикой торгового капитала. В завоевании Кавказа, Средней Азии, в империалистической политике царизма на Дальнем Востоке Покровский усматривал только «торгово-капиталистический смысл». Вся внешняя политика царской России от Екатерины II до Николая II включительно объявлялась теперь Покровским борьбой за южные пути, за проливы.

Покровский пришел к безжизненной и бесплодной схеме, утверждавшей всемогущество и вездесущность торгового капитала с его извечной борьбой за торговые пути.

Антимарксистский, антиленинский путь, которым шел Покровский в изучении фактов внешней политики, неизбежно привел его к полной ликвидации конкретной истории внешней политики царской России.